

В. БАЗАНОВ

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ФЕДОРА ГЛИНКИ

(10—30-е годы XIX в.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
ПЕТРОЗАВОДСК — 1950

I.

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Первым наставником Федора Николаевича Глинки был его родной брат Сергей Николаевич, впоследствии издатель и редактор «Русского вестника». После окончания сухопутного кадетского корпуса, в январе 1795 года, Сергей Глинка возвращался на родину, в Духовщинский уезд Смоленской губернии, а его младший брат Федор готовился в это время к вступлению в тот же кадетский корпус. Все «сокровище», с которым Сергей Глинка ехал домой, состояло из трех его любимых книг: «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, «Сентиментального путешествия» Стерна и «Вадима Новгородского» Княжнина. Сергей Глинка, ставший впоследствии защитником идей православия и самодержавия, в молодости наизусть знал французскую «Марсельезу» и перевел ее на русский язык. В своих «Записках» много восторженных страниц посвятил он воспоминаниям о корпусной жизни и с теплотой отзывался об учителе словесности, известном писателе Я. Б. Княжнине. «Записки» писались в разное время, преимущественно под старость, когда Сергей Николаевич ослеп и вынужден был диктовать свои воспоминания. Но есть в этой книге отдельные страницы, написанные в пору кипучей молодости и включенные в воспоминания без всяких изменений (к таким страницам следует отнести рассказ о поездке на родину).*

* Черновики «Записок» частично хранятся среди бумаг «Русской старины» в Пушкинском доме. Укажем, что в 1806 году С. Н. Глинка совершил поездку из Москвы в Петербург вместе с Н. А.

Под впечатлением только что прочитанного «Путешествия» Радищева, наделавшего, по словам С. Глинки, «много шума», в путевом дневнике молодого офицера были сделаны заметки о «бедных хижинах» и несчастном человечестве.

«Но чем дальше от Петербурга, — писал Сергей Глинка, — тем больше казалось, что мы заезжаем в какие-то дымные, курные дебри. Эта бедная хижина. Войдем. Двери настежь; с двух сторон прорубы, названные окнами, открыты; сверху, в отверстие трубы, бьет дым и заполняет избу. Ветер разгуливает в стенах, дымная мгла слепит глаза. Это бы еще ничего, но тут и колыбели младенцев, тут и животные, гнездящиеся по углам или расхаживающие по тинистому полу, зараженному тлетворной сыростью. Некоторые предполагают, что в хижине, отданной на произвол смрада и дыма, ходячий ветер очищает воздух. Но каково пришельцам колыбельным в этом дымном и ветряном мире! Не того желал Петр I».*

Не менее показательное обращение молодого путешественника к древнему Новгороду: «Мысль моя залетела в даль веков, и я воскликнул с Вадимом:

— О! Новгород, что ты был и что ты стал теперь!

Приезд С. Н. Глинки в родное имение Сутоки совпал с проводами его младшего брата Федора в Петербург. Федор Глинка застал кадетский корпус не в том виде, в котором он был при графе Ангальте и Я. Б. Княжнине. Начальство корпусное сочло «излишним удерживать живопись на стене, книги на столах, бюсты в залах... и тому подобное». «Только кое-где еще мелькали на потолке в дальних углах: то забытая фигура из начертательной геометрии, то какое-нибудь аллегорическое изображение с надписью, например: «Пирамида, отвесно поставленная», и под нею слова: «Держись одной прямизной!» или зеркало с девизом: «Я говорю всегда правду!» «В таком положении застал я, — вспоминал Федор Глинка во «Взгляде на прошлое», — обломки прежнего быта корпуса. Я застал еще в залах несколько мраморных бюстов. Но эти Сократы, Платоны и Кесари жалко выглядели с обломанными носами, без ушей.

Радищевым. «Было много тогда задушевного разговора с Н. А. Радищевым. Прекрасный он был человек». Об А. Н. Радищеве в «Записках» сказано: «Отец моего спутника, Александр Николаевич Радищев, был человек чрезвычайно просвещенный и образованный» («Записки», стр. 205).

* С. Н. Глинка. Записки. СПб., 1895, стр. 130—132.

И самые люди, населявшие длинные камеры корпуса, были уже другие».* После окончания кадетского корпуса Федор Глинка принял непосредственное участие в войне 1805—1806 гг., состоя адъютантом генерала Милорадовича. Несмотря на слабое здоровье, он все походы, бессонные ночи, холод и усталость переносил сравнительно легко. «Было одно лекарство для всего — это чудесный сон, заменявший слабый аппетит и восстанавливавший силы. Этот сон доходил иногда до сонливости».**

Во время походов молодой офицер вел дневник, который в 1808 году вышел отдельным изданием под названием «Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях в Венгрии с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806 годах». Девятнадцатилетний автор «Писем» считал своим долгом «подвиги явить сограждан», изображать «военные происшествия и многие геройские деяния россиян». Но героическая фабула в письмах о войне 1805—1806 гг. сочеталась с изображением «бедствий войны» и неудач военной кампании, обнаружившей неподготовленность русского самодержавия к борьбе с Наполеоном. Для первой части «Писем русского офицера», куда вошли письма 1805—1806 гг., показательно скрытое осуждение правителей мира, которые превращают жизнь народов в кровавую трагедию.

После первой войны с Наполеоном Глинка по болезни вышел в отставку и поселился в родной Смоленской губернии, занявшись исключительно литературой. В 1810—1811 гг. он совершил краеведческое путешествие по Смоленской и Тверской губерниям, побывал в Киеве и плавал по Волге. «Письма русского офицера» дополнились «Замечаниями, мыслями и рассуждениями во время поездки в некоторые отечественные губернии». Автор их уже имел «много случаев познать жизнь и людей», он имел возможность познакомиться с чужими землями и обогатить свои впечатления путешествием по России. «Письма русского офицера» — это своеобразный путевой журнал, куда автор

* «Москвитянин», 1846, ч. 1, стр. 35—36.

** Автобиографическая заметка Ф. Н. Глинки хранится в Центральном государственном историческом архиве (Ленинград), среди бумаг В. В. Григорьева, л. 58. В этой же заметке Глинка пишет, что «с детства был очень болезнен и перестрадал я едва ли не всеми болезнями: то сохну, то был в лихорадке, то, по временам, появлялись признаки горячки».

записывал все, что видел и слышал. В него входят записки, которые офицер вел в годы войны и заграничных походов, а также во время путешествия по отечественным губерниям. Второе сочинение, «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии», находится, по словам Глинки, «непрерывно в общей связи с первым и последним», т. е. с письмами о войне 1805—1806 гг. и с письмами об Отечественной войне 1812 года. Одновременно Глинка является автором «Писем к другу», содержащих в себе «Замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторического повествования «Зиновий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия». «Письма к другу» вышли в 1816 году. Весь этот цикл писем следует рассматривать на фоне других «путешествий».

«Письма русского путешественника» Карамзина породили огромное количество подражателей, появилась целая литература «путешествий». Отметим некоторые из них: «Путешествие в полуденную Россию» (1800—1802) В. И. Измайлова, «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии» П. Сумарокова (1800), его же «Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду» (1803), «Моя прогулка в А., или новый чувствительный путешественник» К. Г. (1802), «Путешествие в Казань, Вятку и Оренбургскую губернию» М. Невзорова (1803), «Путешествие в Малороссию» (1803) и «Второе путешествие в Малороссию» (1804) кн. П. Шаликова, «Мое путешествие, или приключение одного дня» Н. Брусилова (1803). Наконец, появляется «15-дневное путешествие 15-летней, описанное в утробе родителю и посвященное 15-летнему другу» М. Гладковой (1810). Из всех путешествий несколько выделяется «Путешествие», написанное 15-летней М. Гладковой. В нем отсутствует приторная чувствительность, но зато приводятся сведения по географии, истории, этнографии края. Юная путешественница считает более интересным рассказывать о прошлом русских городов (Тверь, Валдай, Великий Новгород), о мыловаренных и кожевенных заводах, о Ладожском канале и реформах Петра I, о крестьянской свадьбе и новгородском наречии, нежели подражать кн. Шаликову и, проливая слезы, рисовать «милые картинки». Сентиментальную манеру кн. Шаликов в своем «Путешествии в Малороссию» довел до крайности, до раздражающей чувствительности и приторной слезливости. В его

письмах «нет ни статистических, ни географических описаний; одни впечатления путешественника описаны в нем». Не успел кн. Шаликов проститься с друзьями, как сердце его «стеснилось, затосковало» и «слезы заструились из глаз». В пути, по его словам, он только тем и занимался, что пил кофе с «чувствительными друзьями», читал дамам сентиментальные элегии, любовался лугами, усыпанными «желтыми, лиловыми и голубыми цветочками», восклицая при этом: «О природа! о чувствительность!» За все путешествие кн. Шаликов два раза встречается с крестьянами: первый раз в храме, во время богослужения, второй — на сельском празднике. Вместе с помещиком он любит «счастливыми поселянами». «Там раздались нежные свирели — здесь громкие песни; молодые крестьянки и крестьяне составили резвые пляски; пожилые сели за столы, на которых из больших сосудов благоухал нектар и амброзия их — горелка и свежий хлеб, иные бросились на качели, поставленные в роще; прочие рассеялись по роще и лугу; мы ходили везде и веселились с счастливыми поселянами. Добрый их помещик радовался искренне счастью их и разделял его с ними в чувствительном своем сердце».*

И все остальные «путешественники» рисовали подобные же пасторальные идиллии и выступали в качестве таких же фальсификаторов в изображении окружающей действительности. В «Путешествии в полуденную Россию» Вл. Измайлова содержатся некоторые исторические сведения, но на первом плане все же стоит «сам-друг с собакой», потом «и небо, и травка, и поющие птички, и шумящие ручейки» и снова «собственное бытие мое». Путешественник, глядя на красивую крестьянку, мечтает вместе с ней стеречь барашков и овец, «петь русские песни». Всюду «гармония и порядок»: «овечки в стаде», «цветущие луга», «зеленые лесочки», «бело-румяные крестьянки».

Несколько в стороне от традиции сентиментальных путешествий стоит «Мое путешествие, или приключения одного дня», сочинение Николая Брусилова. В нем заключен элемент пародии на обычное сентиментальное путешествие. Первое «странное путешествие» состояло в том, что герой, прогуливаясь по улице, наступил на платье «черноволосой красавицы», которая назвала его «грубияном». Но ничего,

* Путешествие в Малороссию, изданное кн. П. Шаликовым, М., 1803, стр. 182—183.

кроме иронии, Брусилов дворянскому сентиментализму не противопоставляет. В сущности настоящего описания путешествия здесь нет, как нет и оригинального взгляда на окружающую действительность.

Несколько другого типа, хотя бы по авторским установкам, «Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург» Максима Невзорова. «Буду сообщать по возможности, — признавался Невзоров, — прошедшие и настоящие истории мест, нами проезжаемых, описание нравов, обычаев и жителей разных губерний». Путешественник действительно рассказывает о Нижнем Новгороде, о Минине и Пожарском, о Казани, о борьбе русских с татарами, о павловских мастеровых и т. п. Исторический, географический и этнографический материал здесь перемешан с лирическими отступлениями, «трогательным взглядом» на сельское жительство. Но эта вторая струя все же берет верх над историческим и этнографическим материалом. Картины «веселости простых крестьян», в частности изображение праздника в селе Забликовский погост, не выходят за рамки традиционного сентиментального путешествия. Невзоров ограничивается риторическими восклицаниями: «Какая чистота! какое здоровье! какая свежесть в их лицах! Полнота их состава есть точное изображение весны, когда тучная флора дышит прелестными и чарующими ароматами».* В сценах, посвященных изображению собственно народной жизни, Невзоров идет по проторенной дорожке.

Просматривая литературу «путешествий», нетрудно убедиться, что главными поставщиками этого жанра являлись эпигоны Карамзина. В их дневниках и письмах центральная тема эпохи, тема о внутреннем состоянии России, о положении крестьянских масс, или вовсе обходилась, или искажалась до неузнаваемости. Исторический, этнографический и географический материал, если и привлекался ими, то исключительно в малых дозах и чаще всего в качестве экзотического привеска к лирическому повествованию.

О литературе «путешествий» имеются отдельные статьи, но интересно отметить, что ни в одной из них нет даже ссылки на краеведческие путешествия Глинки.** Они и не

* Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1806 году Максима Невзорова, М., 1803, ч. 1, стр. 51.

** О русской сентиментальной повести в литературе «путешествий» см.: Т. Р о б о л и. Литература «путешествий». Сб. «Русская проза», под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л., 1926, стр.

могли не выпасть из общих обзоров сентиментальных «путешествий». В самом первом письме, написанном перед отправлением в военный поход 1805 года, Глинка предупреждает своего друга, что он не будет следовать примеру сентиментальных путешественников. Напомнив остроумную классификацию путешественников Стерна в его «Сентиментальном путешествии» (праздные, любопытные, лживые, гордые, пустые, мрачные и чувствительные, к последним Глинка отнес самого Стерна), девятнадцатилетний офицер заявил, что себя он не может причислить «ни к одному из сих отделений, ибо путешествовал по обязанности, а не от праздности или пустого любопытства».* «Что касается до слога, то я, — признавался Глинка, — не старался, а, может быть, и не мог сделать его витиеватым и кудреватым, я желал одного, чтобы все повествования мои отличались простотою и истиною».**

В письмах Глинки нет ни настоящего стернианства с его реалистическим юмором, ни избыточной чувствительности, так характерной для последователей Карамзина. В непрерывном потоке сентиментальных писем и путешествий письма Глинки, его «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии» образуют особую ветвь и даже направление. В них легко обнаруживается влияние «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Уже в самых ранних письмах (1805 — 1806 гг.) Глинка много внимания уделил изображению народных обычаев и нравов, характеристике государственного строя и анализу причин народных бедствий. Рассказывая о пребывании в Венгрии, Глинка отмечал, что венгерские крестьяне не платят никому податей, что в управлении страной, кроме короля, участвует «палатин», который является «посредником между народом и королем». Избранный самим народом, «палатин» обязан «защищать права народные противу самого короля, если бы сей вздумал

42—73; «История русской литературы», изд. Академии наук СССР, т. 5, гл. «Карамзин и сентиментализм».

* В «Путевой книжке», которую Глинка вел все годы заграничных походов, в наброске «Выезд из Парижа» имеется и такое восклицание: «О дураки, дураки, чувствительные путешественники!» (Центральный литературный архив, ф. 141, «Путевая книжка», на 32 л.).

** Письма русского офицера, ч. 1, стр. 2—3. Изд. 1815—1816 гг. Далее цит. по этому изданию.

их нарушать». Глинка ставил в пример такой образ правления, когда власть монарха ограничена надежными законами и контролирующим эту власть сеймом или думой, которая созывается по требованию народных представителей. Необычна для сентиментальных путешественников постановка вопроса: «Отчего все сии крестьяне так хорошо живут?» «Всякий крестьянин, кроме того, что обрабатывает землю, промысляет еще каким ни есть ремеслом. Он платит очень малую подать государю, платит помещику за землю до тех пор, пока ее совсем не выкупит, и после сего он свободен».* В противоположность сравнительно благополучному состоянию крестьянского сословия в Венгрии Глинка изображает бедственное положение крестьянства в Галиции, напоминающее участь русского крестьянина. И сама галицкая черная хата напоминает бедную русскую крестьянскую избу, известную по «Путешествию из Петербурга в Москву». «Теперь сижу я, — рассказывает Глинка, — в хате у мужика, в Старой Галиции: печь топится, трубы нет; густой черный дым наполняет и коптит всю хату; вместе с нами лежат коровы. Взглянешь на хозяев и ужаснешься; они все в лохмотьях и закоптели. На бледных лицах их изображается горесть; они живут в убожестве и нищете. — Отчего же они так несчастны? На это можно сказать много причин; главнейшая состоит в безмерных налогах». Глинка, тогда совсем еще молодой офицер, обнаружил много острой наблюдательности и в отличие от беспечных путешественников, не видевших из окна кареты ничего, кроме ручейков и «аркадских пастушек», не прошел мимо крестьянских изб и нашел в них крайнюю бедность и нищету.

Уже на самых первых порах своей литературной деятельности Глинка зарекомендовал себя как писатель-гуманист, искренне болевший за судьбу угнетенного человечества. В путевой заметке, озаглавленной «Бедность», он высказал мысли, совсем близкие Радищеву: «Сердце содрогается при воззрении на печальную картину несчастья и бедности подобных нам человеков. Одни только богачи не смягчаются».** Глинка в духе радищевского гражданского народолюбия пишет лучшие страницы дневника, который он вел во время поездки по отечественным губерниям. Простые вы-

* Письма русского офицера, стр. 178.

** Там же, стр. 191.

ходцы из среды русского народа, которые «точно ко всему способны», — самые близкие знакомцы путешественника. Среди них: крепостная крестьянка из деревни С., смоленский житель Маслов, открывший «средство делать из песка и воды всякого виду камни, твердостью подобные кремню», замечательные ржевские механики, среди которых отличался особенно П. И. Д. — он своим умом дошел до изобретения «способа двигать противу течения реки нагруженные суда», старицкий самоучка-архитектор Матвей Чернятин. «Максим Егорович Нелимов, живущий теперь в Ржеве», может служить доказательством, что «там и до сей поры не перевелись еще остроумные художники-самоучки. Этот человек доказал на деле, что прилежание, соединенное с терпением, может всему научить. Нет художества, в котором бы он не упражнялся и которого бы хотя отчасти не постиг: он мастер золотых дел, слесарь, столяр, живописец и механик».* Терентий Иванович Волосков, механик, богослов и химик, тоже является примером того, что «в России могут родиться изобретательные умы и процветать дарования». Он изобрел солнечные часы, кармин, бакан и румяна, которые стали вывозить за границу. В главе «Русский крестьянин-философ Иван Евстратьевич Свешников» Глинка говорит о Ломоносове, воспоминание о котором является лучшим «похвальным словом» русскому народу. Ломоносов благодаря своему дарованию пробился «сквозь железную стену предрассудков и отличий общественных». «Кто бы мог подумать, увидя сына простого рыбака, сидящего на диких скалах Белого моря, что он будет некогда знаменитым сыном России, великим мужем — славным Ломоносовым! — Никто не предузнавал механика и химика в сыне ржевского купца Волоскова. Но оба они — первый под шумом Северного моря; другой в тишине ржевских рощей — сгорали сильною страстию к учению. Еще на заре жизни, ощутив в себе бесценные дарования природы, сквозь все препятствия стремились они к усовершенствованию оных. Свешников, едва ли кому известный, достоин также занимать место в ряду отличнейших мужей отечества нашего. Природа, производящая необыкновенных людей, кажется, при самом рождении поселила в нем семена великих дарований. Он, подобно Ломоносову, родился в крестьянском звании;

* Письма русского офицера, ч. 2, стр. 114—115.

способности его расцветали на полях родины, где он пас стада своего отца».*

Глинка с огромным сочувствием изображает тяжелую жизнь народа, нищету и несправедливость. В «Замечаниях, мыслях и рассуждениях во время поездки в некоторые отечественные губернии» содержится замечательная глава о крепостном праве, мы имеем в виду очерк «Сетование поселянки», написанный под непосредственным влиянием радищевского «Путешествия». В духе Радищева Глинка изображает «курную избу» и «буйное самовластие», даже в деталях «Сетование поселянки» совпадает с известным описанием бедной крестьянской утвари, которое мы находим в главе «Пешки». Напомним сетование поселянки из «Писем русского офицера»: «Посреди деревни С... переломилась у нас под повозкою ось. Между тем, как старались о починке, мы вошли в ближайшую избу. Это было рано поутру: облака дыму, вытекая из растопленной печи, клубились у потолка и, окуривая стены, стремились сквозь растворенную дверь в сени. Мы застали одну только пожилых лет хозяйку, которая стряпала в печи. Слово за словом завели мы разговор о их житье-бытье. Хозяйка сначала говорила холодно и запинаясь; но когда дошла речь до их горя, то ухват выпал у ней из рук, глаза ее засверкали, и она проговорила такую речь, в которой не было, может быть, и тени тех риторических красот, которыми блещут речи, сказываемые на кафедрах; но за всем тем у нас, слушавших ее со вниманием, волосы становились дыбом, и сердце несколько раз обливалось кровью. Что же было содержанием столь поразительной речи? — Бедная крестьянка описывала горькую свою долю. Она говорила самым простым и грубым наречием; однакож вопли, ее вздохи, часто воздеваемые к небу, иссохшие от работы руки и слезящиеся глаза придавали словам такую силу, что и сам господин ее поразился ими, если б из палат своих заглянул под эту пору в кур-

* Этот отрывок из «Писем русского офицера» (1815 г., ч. 3, стр. 88—90), перепечатанный тогда же в «Сыне отечества» (1815 г., ч. 24, стр. 163—183), был известен Кюхельбекеру-лицеисту. В «Словаре» Кюхельбекера есть запись: «Свешников Иван Евстратьевич прибыл в С.-П. в 1784 г. из Тверской губернии — воспитанник природы и прилежания». Крестьянин-самоучка Свешников выведен Пушкиным в «Разговоре с Натальей Кирилловной Загряжской» (1835 г.) в лице приказчика на барках Ветошина. См. исследование «Пушкин и Кюхельбекер» Ю. Тынянова в «Литературном наследстве» (1934 г., №№ 16—18, стр. 337).

ную избу. Непритворная скорбь всегда красноречива: выражения ее не украшаются цветами искусства; но зато все ее слова, ознаменованные истинным чувством, пронизают, как стрелы, сердца слушателей. — Вот, что я мог запомнить из слов сетовавшей крестьянки, которая в исступлении говорила скоро и невнятно: «У нас, батюшка, не как у людей: отдыху нет ни на минуту, и в воскресный день кряхтим да потеем на работе, да коли б дельная работа!.. с нивой справляться не грозно мужику... А то, как кроты, роемся в земле: то скапываем горы, то насыпаем пригорки; а кирпичу-та, кирпичу, каменьев, каменьев сколько перетаскали! да все в гору, и все на своих плечах! Кони от натуги подошли... матушка-весна, хоть для всех красна, только нам не мила: люди встречают ясные денечки да радуются; а мы кулаком слезы утираем. От раннего утра до поздней зари мы все в садах на работе». У помещика NN, получившего воспитание в иностранном пансионе, крестьяне обременены «страшными поборами», мужикам «хоть гнилую колоду гложи». Накануне приезда путешественника в селение С. помещик, собрав всех крестьян, «требовал от них денежного оброка, который они, сверх пригонов, должны платить». «Когда бедные поселяне отговаривались неимением денег, то, угрожая им плетью, розгами и всем, чем буйное самовластие грозит униженному рабству, говорил: «Продайте своих коров, овец и все, что имеется, для zapлаты мне оброка: мне нужда в деньгах: я еду в Москву!» *

Побывав в Киеве и в Смоленской губернии, Глинка прибыл в Тверь. Перед ним лежал путь, по которому два десятилетия тому назад ехал на перекладных из Петербурга в Москву Радищев. В «Путешествии» Радищева глава «Тверь» занимает одно из центральных мест, не говоря о том, что в ней обильно цитируется знаменитая ода «Вольность». В «Замечаниях, мыслях и рассуждениях во время поездки в некоторые отечественные губернии» Глинки имеется глава под тем же названием. Глинка напоминает о судьбе Меншикова, низвергнутого «с высоты величия и славы», оказавшегося в «хладной Сибири». Отступление в прошлое имеет преднамеренную мотивировку. В «Путешествии» Глинки появляется какой-то «бедный узник, жертва пылких страстей, притеснений, изгнанный из общества,

* Письма русского офицера, ч. 2, стр. 92—98.

обремененный веригами и брошенный в подземную тюрьму», который «воображает золотое царство свободы, где никогда не раздастся ни звук цепей, ни стон притесненных, где скован законом один только деспотизм. Он воображает и забывается о своем злополучии». * Кто бы мог быть этим «бедным узником», попавшим в «подземную тюрьму» за мечту о «царстве свободы», и почему именно в Твери Глинка вспомнил об этом узнике? Напомним, что Радищев в Твери «развернул и читал» оду «Вольность». «В следующих одиннадцати строфах, — говорил он, рассказывая о содержании оды, — заключается описание царства свободы и действия ее; то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие...» Свою «прогулку в ненастье» («Прогулка в ненастье» — так называется очерк, в котором рассказывается о «бедном узнике», очерк входит в главу под названием «Тверь») Глинка, как бы переключаясь с Радищевым, завершает древнекитайской пословицей о счастливом народе: «Где мечи заржавели, плуги светлы; тюрьмы пусты, а житницы полны; ступени церковные в грязи, а дворы судилищ поросли травой; врачи пешком, а мясники верхами — там стариков и младенцев много, а государство благо управляется». Реальный смысл глинковской «пословицы» будет очевиден, если принять во внимание его «Мысли» (собрание избранных афоризмов), появившиеся в 1818 году на страницах «Сына отечества». На этот раз он признавался: «Во время наших праотцов великие люди жили в малых хижинах, а в наше время малые люди живут в превеликих чертогах». Среди «вопросов», значащихся в черновых походных тетрадах офицера, имеется и такой вопрос: «Что всего реже?» Ответ: «Тиран, который бы дожил до старости». Здесь же, в походных тетрадах, он приводит следующее изречение:

Сегодня жить,
А завтра гнить,
Сегодня князь,
А завтра грязь.

Полагаем, что Глинка имел в виду Радищева, когда писал о «бедном узнике».

В той же главе «Тверь» Глинка рассказывает о первом тверском князе Ярославе Ярославовиче и его любимом отроке Григории. На первый взгляд историческое предание об

* Письма русского офицера, ч. 3, стр. 16—17.

Ярославе не имеет никакого отношения к политической тенденции «путешествия». Из тверских летописей известно, что Ярослав, поехав на соколиную охоту, узнал о свадьбе отрока Григория и Ксении; войдя в церковь, он расстраивает свадьбу и сам женится на Ксении. Обработку этого летописного сказания мы находим в повести Сергея Глинки «Григорий» (историческая русская повесть), которая стоит в прямой зависимости от «Бедной Лизы» Карамзина. Герой в повести Сергея Глинки имеет «чувствительное сердце», «в простоте сердечной беседовал он с поселянами», Григорий любит идилической природой и т. п. Волжский пейзаж в изображении С. Глинки совсем не соответствовал реальному пейзажу, и «отечественные луга» выглядели слишком пасторально: «Тут пестрились душистые полевые фиолы, милые васильки, прекрасные глазки анютины, незабудки и ландыши». Повесть Федора Глинки лишена подобной слащавости. Правда, и у него говорится о «белых гвоздичках» и «синих васильках», но они пестрят не на лугах, а вплетены в искусно сделанный венок, который украшает голову невесты. Ярослав в изображении Сергея Глинки — только сентиментальный герой. Совершив преступление, он «не находит ни спокойствия, ни радости», он обвиняет себя «не в том, что силою принудил ее (Ксению — В. Б.) соединиться с ним узами брака, но в том, что Григорий, которого прежде он называл другом своим, лишен им всего, забыт всеми, в нужде и бедности скитается по свету».* Конфликт между князем Ярославом и отроком Григорием в повести Сергея Глинки переводится исключительно в план отвлеченной морали, и весь сюжет сводится к спору двух женихов. Григорий в порыве отчаяния говорит Ярославу, что его «порфира не скроет кровавых пятен», но гнев Григория направлен не столько против преступного государя, сколько против соперника в любви.

Федор Глинка этот сюжет перестраивает на социальной основе. Ксения подает руку Ярославу, и государь, торжествуя победу, занимает место Григория. Отрок Григорий, пораженный вероломством Ксении, уходит в леса и становится отшельником. Историческое предание в повести Глинки облечено в форму сновидения путешественника. Сохраняя примитивность сюжетной схемы (он, она и анта-

* «Русский вестник», 1808, ч. 2, стр. 147—148.

гонист), Глинка перестраивает монолог Григория, который становится кульминационным пунктом повести. Григорий говорит о государе, который должен быть «защитником своего народа». «Государь есть отец, покровитель, защитник своего народа... Но ты не государь, ибо попираешь правосудие ногами и пред всеми являешь себя рабом твоих страстей! Ты не друг, ибо дружба, дар неба для убогих и несчастных, не может быть уделом царей: ты только грозный владыка, притеснитель!.. Ты привык считать себя в венце земным богом. Раболепие с трепетом лобзает прах ног твоих, и ты играешь судьбою подданных по дерзкой воле твоих страстей!.. О государь! Ты ослеплен самовластием. Опомнись! Кто ты? что ты делаешь? и где дерзаешь быть неправосудным?.. История приемлет свинцовое перо и готова вписать имя твое в черную книгу царей-притеснителей. Смотри! и смерть, стоя за тобою, треплет тебя по раменам и шепчет на ухо: вспомни себя! или еще минута и — я сорву с тебя венец и порфиру, дам тебе ризу истления, вместо покрова славы».*

На описание тверского сна путешественника, на наш взгляд, прямое влияние оказала «Спасская полесь» из «Путешествия» Радищева. Женщина, олицетворяющая истину, срывает пелену с глаз царя и обнаруживает перед ним действительную картину состояния страны: заросшие нивы, угнетенный народ и т. п. «Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого». И золотой венец «некоего, сидящего на престоле» предстает в другом виде. Одежды «некоего», скипетр, покоящийся на снопах из чистого золота, покрываются человеческой кровью. Но важно отметить, что если мы имеем у Радищева смелую критику социальных основ, то у Глинки она заменена нравоучительной проповедью. Склонность к дидактике («Будьте добродетельны — будете счастливы») составляет отличительную черту иносказаний Глинки. Аллегория Глинки лишена подлинно радищевского смысла, автор ее — будущий член Союза Благоденствия, болеющий за судьбу человечества, но не видящий реального выхода из противоречий окружающей действительности. Монолог с тираноборческими мотивами («Еще минута — и

* Письма русского офицера, ч. 3, стр. 36—39.

я сорву с тебя венец и порфиру, дам тебе ризу истления, вместо покрова славы») Глинка переключает на отвлеченное противопоставление добра и порока. В народной сказке о семи мудрецах «злодея» ведут на плаху, подобное возмездие предполагается и у Радищева, а Глинка поражает «злодея» дидактическими доводами. Тверской сон имеет свое продолжение. В рассказе «Сновидение» («Письма к другу») изображается встреча юного гражданина с мудрым старцем, который открывает перед юношей новую страну, где не слышно звуков цепей (иначе рассказ называется «Из северных лесов»), и дает ему советы: «Вдохновенный внушениями моими, ты не убоишься вещать строгие истины и сильным мира и царям. При дворе государя, на бурном море, под свистом пуль, у самого жерла огнедышащей горы, подкрепляемый мною, ты пребудешь непоколебимым, и если вселенная станет сокрушаться вокруг тебя, ты не дрогнешь».*

Таким образом, в молодости Глинка находился под влиянием Радищева: он был «радищевцем» в том смысле, в каком это название приложимо к поэтам из раннего Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Но принимая радищевскую концепцию о свободном человеке и радищевское разоблачение тирании, Глинка никогда не поднимался до идеи революционного отрицания. Не следует превращать Глинку в прямого последователя Радищева (таковым он не был), но нельзя также не учитывать того огромного и важного воздействия, которое оказывал Радищев на будущих декабристов.

II.

ПИСЬМА РУССКОГО ОФИЦЕРА

Три брата — Сергей, Федор и Григорий — достойно встретили новую войну с Наполеоном. Григорий Глинка служил в Либавском полку и уже сражался с врагом, он защищал родной Смоленск и «дрался так храбро, как только может драться смолянин за свой отечественный город». Во время Бородинского сражения Григорий Глинка получил тяжелое ранение в голову. Сергей Глинка оставался в Москве. Он явился к московскому главнокоман-

* Ф. Г л и н к а. Письма к другу. СПб., 1816, ч. 2, стр. 127.

дующему со словами: «Хотя у меня нигде нет поместья, хотя у меня нет в Москве никакой недвижимой собственности и хотя я не уроженец московский, но где кого застала опасность Отечества, тот там и должен стать под хоругви отечественные». * Сергей Глинка первым вступил в ратники Московского ополчения, ему надлежало пером и словом воспламенять патриотический дух соотечественников. «С того дня Глинка, — замечал П. А. Вяземский, — перенес литературу свою на площадь; он попал на свою колею. Глинка был рожден народным трибуном. Речами своими он успокаивал и ободрял народ». В годы Отечественной войны Сергей Глинка продолжал издавать «Русский вестник», в котором напоминал о доблести предков и яростно нападал на французов. «Глинка, — по словам того же князя Вяземского, — был рожден народным трибуном, но трибуном законным, но трибуном правительства». Журнал «Русский вестник», издаваемый и редактируемый С. Глинкой, в годы борьбы с Наполеоном имел огромный успех. С. Н. Глинка оставил после себя «Записки о 1812 годе первого ратника Московского ополчения» (СПб., 1836) и их продолжение «Записки о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 года до половины 1815 года» (СПб., 1837).

Самую блестящую страницу в патриотический дневник Глинок вписал Федор Николаевич. Он жил к началу войны 1812 года в родном имении Сутоки и занимался литературой. С приближением неприятеля Ф. Глинка, надев «синюю куртку, сделанную из синего фрака, у которого при полевых огнях фалды обгорели», снова вступил в ряды русской армии. Он сражался у Бородина, отступал и наступал с армией, дошел с нею до Тарутина, где встретился с генералом Милорадовичем и по его предложению снова вступил в Апшеронский полк. Вместе с армией, преследовавшей отступающих французов, Глинка проделал весь заграничный поход 1813—1814 гг. За участие в Отечественной войне 1812 года он был награжден орденом Владимира 4-й степени, орденом Анны 2-й степени и золотой медалью. На поле боя и во время отдыха офицер-писатель продолжал вести дневник, куда заносил свои мысли и наблюдения. В результате возникли новые «Письма русского офицера». В первом издании 1808 года книга эта касалась только

* С. Н. Глинка. Записки о 1812 годе первого ратника Московского ополчения, СПб., 1836, стр. 4.

событий 1805—1806 гг. Во втором издании 1815—1816 гг. в нее вошли также и воспоминания об Отечественной войне, о Бородинском сражении и последующем заграничном походе русской армии. «Письма русского офицера» упрочили за Глинкой литературную известность и обеспечили ему прочное место в истории русского патриотизма.

«Письма русского офицера» Федора Глинки следует рассматривать на фоне многочисленных писем, записок и воспоминаний о войнах с Наполеоном. Как в свое время «Письма русского путешественника» Карамзина и целая серия сентиментальных путешествий знаменовали собой одно из значительных явлений русской литературы, так после 1812 года воспоминания и записки участников Отечественной войны составили вполне самостоятельный раздел современной прозы и публицистики. Из записок о 1812 годе, кроме «Писем русского офицера» Федора Глинки, следует отметить «Записки о 1812 годе» Сергея Глинки (СПб., 1836), «Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов» И. Лажечникова (М., 1836), «Краткие записки адмирала А. Шишкова, веденные им во время пребывания его при блаженной памяти государе императоре Александре I в бывшую с французами в 1812 и последующих годах войну» (СПб., 1831) и др. Все эти произведения посвящены борьбе русского народа с захватчиками, мужеству русских воинов, все они по своему замыслу патриотичны. Но проблема патриотизма разрешена у каждого писателя по-разному. Кажущееся единство патриотической литературы о войне с Наполеоном разрушается при первом сравнительном изучении отдельных произведений. Записки А. Шишкова, находившегося во время войны при Александре I, имеют два повествовательных плана: официальный и неофициальный. В официальную часть входят высочайшие манифесты, воззвания и разные известия, писанные адмиралом Шишковым, в стиле которых нетрудно узнать Шишкова-«беседчика», стремившегося выдерживать интонацию библейских речей, «старый» слог русского языка. В свободное от служебных обязанностей время адмирал Шишков занимался чтением священных книг, находя в них «разные описания и выражения, весьма сходные с нынешнею нашею войною». Шишков брал «речения и выражения оных без всякой перемены» и, только «сдвигая» одно к другому, составлял «священные» повествования о войне 1812 года: «Вшествие врага в цар-

ство и гордый помысел его», «Разорение Иерусалима», «Молитва царева», «Глас с небеси», «Воззвание царя к народу», «Падение кипариса», «Пророчество». В высочайших манифестах и в «священном» повествовании Шишков выступает в качестве императорского летописца. Но параллельно высокому плану записок разворачиваются более частные заметки, в которых Шишков рассказывает о своих личных переживаниях, о разных «случаях и приключениях». Читая эти страницы «Записок», приходится удивляться, насколько резко здесь меняется сам облик Шишкова. В манифестах и рассуждениях он парит, он только государев слуга, в частных записках, не имеющих прямого отношения к политическим и военным действиям, Шишков и среди военного шума выглядит прежним барином-хлебосолом, который ежеминутно жалуется на плохое состояние своего здоровья, на трудности полужизни, постарчески радуется, когда встречает петербургских дам, с восхищением рассказывает о вкусных обедах. Адмиральские записки приобретают слишком интимный, домашний характер.

Сословный дворянский дух пронизывает «Записки» Шишкова и особенно «приказы по войскам», им сочиненные, в которых выражен официальный патриотический восторг. Шишков не забывает напомнить об особых заслугах русского дворянства, которое, по его словам, есть «верная и крепкая ограда престола, ум и душа народа». «Вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ» — в такой последовательности перечислял Шишков сословия, отводя народу в героической эпопее 1812 года самое последнее место. В манифесте от 1 января 1816 года Шишков на вопрос, какую же награду дать русскому народу после «толиких происшествий и подвигов», отвечает: «Награда ему — дела его, которым свидетели небо и земля» — вот и все, что говорится о награде в отечестве. Понятно, почему адмирал Шишков, возвращаясь из заграничного путешествия, не сумел ничего иного отметить в своих «Записках», как только то, что «возвратное путешествие мое в Россию было без всяких особенных приключений». Он ничего не увидел и не услышал на обратном пути. «Записки» адмирала Шишкова тем и показательны, что, несмотря на их патриотическую фразеологию и постоянную апелляцию к народной героике, они написаны с реакционно-охранительных позиций, поскольку в них на первом плане

стоят классовые симпатии одного из крупнейших представителей правительственной реакции.

Немногим из писателей 1812 года удалось в своих записках понять подлинный смысл и реальные движущие силы Отечественной войны. Мы не говорим о ростопчинских афишках и его «Мыслях вслух на красном крыльце», комедии «Вести, или убитый живой» и повести «Ох, французы», написанных в разное время, начиная с 1807 года и кончая 1842 годом. По справедливым словам Л. Н. Толстого, гр. Ростопчин «не имел ни малейшего понятия о том народе, которым думал управлять». Не только Ростопчин, но и Сергей Глинка, первый ратник московского народного ополчения, не понял и не мог понять народного характера войны 1812 года. Его «Записки о 1812 годе» (СПб., 1836) и «Записки о Москве и заграничных происшествиях от исхода 1812 года до половины 1813 года» (СПб., 1837) состоят из сплетения разных слухов и вестей, которые не создают реальной летописи Отечественной войны, и не очевидцем они написаны. «Слышал я также, что на Тверском бульваре валялись трупы с повязкою на лбу и с надписью на ней: зажигатели Москвы. Сказывали мне также, будто бы на каких-то гробовых колесницах, в длинных черных плащах, разъезжали какие-то люди, которые, останавливаясь перед домами, стреляли из пистолетов какими-то горючими веществами» и т. п. и т. д.* Записки Сергея Глинки можно назвать «описанием без души», историей без народа. Автор их признавался, что писал свои записки не из тщеславия, но «для сохранения связи в ходе обстоятельств». Но этому можно не поверить. Все его повествование слишком грешит стремлением превратить личное я в «дух народный». «Я провозгласил: ура! вперед! И тысячи голосов повторили: ура! вперед! Все быстро двинулось».** «Сергей Николаевич! куда идешь?» — «Веду к государю народ», — ответил я 1812 года июля 1-го, порывистый дух народа сделал меня вождем своего усердия». Стремление выдать себя за Мина 1812 года и слишком частое напоминание о собственных заслугах как первого ратника московского народного ополчения несомненно снижают общественное значение воспоминаний Сергея Глинки.

* С. Н. Г л и н к а. Записки о Москве и заграничных происшествиях от исхода 1812 года до половины 1813 года. СПб., 1837, стр. 65.

** С. Н. Г л и н к а. Записки о 1812 годе, стр. 9.

«Походные записки русского офицера» Лажечникова образуют самостоятельную линию в беллетристике, посвященной 1812 году. Показательно, что, собираясь вступить в ряды русской армии, И. Лажечников в самой первой записи своего дневника, датированной 20 ноября 1812 года, уподобил себя «рыцарю печального образа», который покидает «мирные хижины» и отправляется искать новых приключений и «если должно, — сразиться с мельницами». Запись, сделанная 1 января 1813 года, снова вводит читателя во внутренний мир сентиментального путешественника. Новый год молодой офицер встречает в элегическом настроении: «Наступил новый год. Сколько слез, сколько благословений сопровождали старый в бурном его течении». И далее под тем же числом автор «Походных записок» продолжает: «Я встретил новый год в глухую полночь, на жесточайшем морозе, среди улиц бедного Мереча. Главная квартира насилу в нем умещалась. Ни одного уголка, где преклонить и согреть бы замерзшие члены мои. Я точно походил на странствующего рыцаря печального образа».* В походе и на отдыхе, в обстановке отнюдь не сентиментальной, Лажечников не расстается со своим двойником, не перестает иронизировать и улыбаться. В его записках нет ни потрясающих картин войны, ни батальных сцен, ни развернутых патриотических высказываний. О славе русского оружия Лажечников говорит словами «Певца во стане русских воинов» и еще несколькими отрывочными зарисовками, которые не создают основного повествования, а являются дополнением к нему. Офицер рассказывает о Москве перед сдачей Наполеону, о смоленском дворянине Энгельгардте, принявшем смерть от руки захватчиков, о боевой дружбе, о заграничном походе. Но и в этих зарисовках, напоминающих законченные новеллы, на первом плане личные чувства героя и пейзажные характеристики. Разрушенная Москва описывается в сентиментальном стиле Карамзина. Перед глазами читателя встают окрестности Симонова монастыря: «Ужасно воеет ветер, пролетая сквозь окна и двери опустошенных домов, или стонет совою, шевеля железные листы, отрывки кровель. Вокруг меня мрак и тишина могил».** Наконец, автор «Походных записок» вместе с русской армией про-

* И. Лажечников. Походные записки русского офицера. М., 1836, стр. 80—81.

** Там же, стр. 18.

ходит по селам и городам Германии, вместе с ней вступает в Париж. Заграничный поход давал возможность включить в записки политический материал. Но Лажечников этого не делает. Из «Походных записок» мы более узнаем о «питомце любви и природы», о липовых рощах, о прекрасных аллеях, о ярмарках и кабачках, нежели об идеях века. Лажечников не любит касаться политических проблем. По многолюдным улицам Варшавы, Берлина и Парижа сентиментальный офицер проходит «с тощим желудком, легким кошельком и нежным сердцем». «Походные записки» Лажечникова не могут быть поставлены в сравнение с «Письмами русского офицера», они ближе по своему звучанию эпохе Карамзина, нежели эпохе, подготовившей будущих декабристов.*

Ф. Глинка писал свои записки при свете бивуачных огней, часто сразу после сражений. «Окруженный шумом военных бурь,—признавался автор «Писем русского офицера» осенью 1816 года в письме к А. А. Прокоповичу-Антоновичу, — я посвящал свое время обязанностям службы. Иногда только, в минуты общего отдохновения, при свете полевых огней, часто на самом месте боя, изливал я, как умел,

* В нашу задачу не входит обзор русской повести и романа 30-х гг. на темы 1812 года. Укажем только, что в 1831 году, почти одновременно, появились романы Булгарина («П. И. Выжигин») и Загоскина («Рославлев, или русские в 1813 году»). Авторы этих романов прячутся за цитаты из «Писем русского офицера» Глинки или выводят на сцену вымышленные лица и заставляют их произносить утомительные тирады. В романах Загоскина и Булгарина фактически нет ни героев, ни реальных событий, не говоря о том, что не действует народ. Булгарин, сражавшийся против русских, «теперь ставится в позу полупатриота и, как всегда бывает в подобных случаях, — замечает Н. П. Сидоров, — холодный внутри, искусственно горячий и перетягивает свое патриотическое рвение» («Отечественная война и русское общество», изд. И. Д. Сытина, т. V, стр. 152). О романе Загоскина писал А. А. Бестужев в статье «О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем»: «Неужели три-четыре черты составить могут картину? Неужели пара помещиков, да пары две офицеров, да один уголок траншеи под Данцигом могут дать понятие о русских, о войне громового 12-го года?» (Собр. соч., 1840, т. XI, стр. 294—295). О всей этой «исторической» литературе можно сказать словами Пушкина: «Все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедывать народную войну, собираясь на долгие отправиться в Саратовские губернии». Незаконченный набросок Пушкина «Рославлев» направлен против одноименного загоскинского романа. См. А. И. Грушкин. «Рославлев» («Пушкинский временник», т. 6, стр. 322—337).

мысли и чувства мои на бумаге».* О письмах Глинки справедливо писал К. Н. Батюшков из Неаполя к Н. И. Гнедичу в мае 1816 года: «Один Глинка писывал в походе. Обними его за меня очень крепко и скажи ему, что его люблю и вечно любить буду».** Важно, что письма писались в походе, а не в Арзамасе, где, например, вел свой дневник в 1812 году Сергей Глинка. «Письма русского офицера» — особый жанр. Это «письма» военного корреспондента, непосредственного участника Отечественной войны. Глинка, в отличие от Лажечникова, который имел время «исправить погрешности своего творения», значительно дополнить и переработать журнальный текст своих записок, напечатал «Письма русского офицера» в таком виде, в каком они были написаны во время войны и заграничного путешествия. Готовясь к переизданию своих писем, Глинка собирался внести в текст некоторые исправления, но ему отсоветовал Крылов. В предисловии к «Письмам русского офицера» Глинка воспроизвел любопытный разговор на эту тему: «В 1817 году, когда мне довелось быть председателем известного в то время Литературного общества, в чине полковника гвардии, членом Общества военных людей и редактором «Военного журнала», — посетили меня в один вечер [в квартире моей в доме Гвардейского штаба] Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич (Жуковский) первый завел речь о моих «Письмах русского офицера», заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества.

«Ваших писем, — говорил Жуковский, — нет возможности достать в лавках: все-де разошлось. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переменить. Теперь уж уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным». Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался, и наконец заговорил: «Нет! не изменяйте ничего. Как что есть, так тому и быть. Не позволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни

* Письмо Ф. Н. Глинки к А. А. Прокоповичу-Антоновичу (1816 г.) хранится в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

** К. Н. Батюшков, Сочинения, 1887, изд. 5-е, стр. 503.

подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы вы хитро ее ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что писалось у вас, где случилось. Оставьте походные строки, выли шиеся у бивуачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных бивуаков. Предоставьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, что вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать. И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а именно, более или менее удачный, отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот многопамятный 12-й год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и, с умиленным самоотвержением, готова была на всякие пожертвования».*

Основная заслуга Глинки, как автора «Писем русского офицера», состоит в том, что он показал народный характер войны 1812 года, показал героизм и мужество русского народа в борьбе за независимость родины. Из записок современников «Письма» Глинки можно сопоставить только с «Дневником партизанских действий 1812 года» Дениса Давыдова. Установка на реалистическую верность и правдоподобие изображаемых картин придает «Письмам русского офицера» значение исторического документа, по которому можно судить о движущих силах и характере Отечественной войны. Со страниц «Писем русского офицера» война 1812 года выглядит подлинно народной войной: народ, творящий свою историю, был главным участником исторического события. Не трескучие морозы, а героизм и самоотверженность русского народа спасли Россию от покорения французами и обеспечили ей национальную независимость. Глинка в «Письмах» своих всюду подчеркивает глубоко народный характер войны 1812 года. «Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщенья в жилах. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оружие оборонительное, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются». Силу русского оружия доказало знаменитое Бородинское сражение:

* Цит. по автографу, хранящемуся среди бумаг В. В. Григорьева. Центральный государственный исторический архив в Ленинграде, ф. 286, лл. 243—246.

«Мужество наших войск было неопишимо. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг». Об этом великом героизме русского народа и его полководцев Глинка рассказывает как очевидец, воин и поэт, мысли и чувства которого проникнуты горячей любовью к России и русскому народу. «Письма русского офицера» выявили в авторе талантливого художника и публициста, умеющего живо и красочно рисовать батальные сцены, разнообразные эпизоды походной жизни, боевые дела русской армии. Для своего времени Глинка удачно разрешил проблему социально-патриотического романа в письмах. Он вывел традиционный жанр «писем» из узкого круга тем сентиментального путешествия, поставив при этом большие социальные и философские проблемы, выдвинутые действительностью XIX века.

«Письма русского офицера» пользовались исключительно большим успехом среди современников. В. А. Жуковский послал Глинке своего «Певца во стане русских воинов» с надписью «Ксенофону Бородина». Как вспоминает Н. В. Путята, «письма эти по появлении своем имели блистательный успех, они с жадностью читались во всех слоях общества, во всех концах России. Красноречивое повествование о свежих, еще сильно волновавших событиях, живые, яркие картины, смело нарисованные в минуту впечатлений, восторженная любовь ко всему родному, отечественному и к военной славе — все в них пленяло современников. Я помню, с каким восторгом наше, тогда молодое поколение повторяло начальные строки письма от 29 августа 1812 года: «Застонала земля, и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так начиналось беспримерное сражение Бородинское».*

Несмотря на широкую популярность «Писем русского офицера» среди современников и их несомненный литературный и общественный интерес, книга Глинки оказалась незаслуженно обойденной историками литературы и не оцененной по заслугам. Запоздалый отзыв о письмах «Ксенофонта Бородина» поместил в 1870 году «Русский вестник». И это, пожалуй, единственный печатный отзыв, который можно назвать журнальной рецензией. Приветствуя переиздание «Писем русского офицера», «Русский вестник»

* Н. В. Путята. Несколько слов о литературной деятельности Ф. Н. Глинки. «Беседы общества любителей российской словесности», 1867, т. 1.

утверждал за Глинкой славу последователя Карамзина. «Глинка, — говорится в библиографической заметке, — не только питомец карамзинской школы: он, равно как Жуковский, современник Карамзина. Слава Карамзина начинается с его «Писем русского путешественника», напечатанных в 1792 году, а с того, как вышли в свет «Письма» о походе 1805—1806 годов, начинается и известность Глинки. От его «Писем русского офицера» веет временем юности Карамзина, его буколическим сочувствием природе и его манерой изложения. Читая «Письма русского офицера», нельзя не вспомнить «Писем русского путешественника».* «Русский вестник» не то что умаляет значение Глинки, он ошибочно определяет место автора писем в истории русской литературы и общественной мысли. Можно согласиться, что «Письма русского путешественника» были «песней соловья», а «Письма русского офицера» — «звуком оружия». Но говорить, что от писем офицера веет только «юностью Карамзина», значит не увидеть в них молодости будущего декабриста.

В. В. Сиповский в монографии «Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника» (СПб., 1899) фактически повторил оценку «Русского вестника», воспринимая Глинку как подражателя Карамзина на том основании, что в его письмах встречаются буколические картины природы и офицер имел «чувствительную душу». И рецензент «Русского вестника» и В. В. Сиповский приводят одно и то же описание природы, в котором якобы Глинка следует по стопам сентиментальных путешественников. Но при более серьезном анализе глинковской буколики можно убедиться в ее глубокой внутренней полемичности. Ссылаясь на «картинную природу» в изображении Глинки, В. В. Сиповский обрывает цитату на самом интересном месте. «Как приятно гулять по здешним полям. Чистый воздух, картинная природа, уединение — все услаждает чувства, все нежит душу, все располагает к дружбе, любви и добру. Но, увы! можно ль предаться сим нежным чувствам, когда война сгущает громовые тучи, и смерть машет над нами косою».** Думаем, что Глинка в данном случае отказывался идти по пути сентиментальных путешественников и, не подзревая того, полемизировал с И. Лажечниковым, кото-

* «Русский вестник», 1870, апрель, стр. 687.

** Письма русского офицера, ч. 5, стр. 2—3.

рый в своих «Походных записках» продолжал «услаждать чувства» и «нежить душу». Мягкая кисть Карамзина в руках офицера Лажечникова сыграла злую шутку: вместо величественных и одновременно суровых картин войны и боевых сражений она в нежных полутонах рисовала веселых птиц, «шалуна Зефира» и «плутишку Амура», сады, созданные для влюбленных, и дорожки, по которым не ступала ни одна солдатская нога. Для изображения воинского стана и народной героики приемы карамзинской прозы становились непригодными.

В «Письмах русского офицера» мы видим преодоление этой традиции, поиски новых путей. В отличие от всех известных нам записок о 1812 годе письма Глинки соединяют тему войны с темой заграничных впечатлений и возвращения на родину. В развитии освободительного движения в России немаловажную роль сыграли заграничные походы русской армии в 1813—1814 гг. Русские люди оказались внимательными наблюдателями социально-политической жизни западноевропейских государств. Заграничные походы были поучительным уроком для военной молодежи. В ходе Отечественной войны 1812 года и заграничных походов было многое проверено и критически пересмотрено, причем выводы, к которым пришел Глинка, были далеко не в пользу современной европейской жизни. Русский офицер в своих суждениях исходил не столько из отвлеченных идей и теоретических предпосылок, сколько из конкретных наблюдений и большого личного опыта. Он знал жизнь не по книгам, а собственными глазами видел Париж, наблюдал обычаи и нравы современной Европы и уже привык самостоятельно разбираться в сложной политической обстановке. Франция XVIII века для него была «источником открытий и заблуждений, великих и малых дел, полезных и вредных истин». В черновых набросках «Писем русского офицера» имеется важное признание: «В XVIII столетии посеяно много семян разного достоинства. Они понемногу всходили и взошли, созревали и созрели. Пришла французская революция, сняла жатву, и началась молотьба. Стук цепов слышен был по всей Европе. Наконец, сгребли все, все, как водится, в кучу, и начали веять. Западные ветры благоприятствовали. Но по закону тяготения лучшие зерна, если они были и есть, остаются на месте, а пыль и полова летит далеко. Мы, удаленные от центра нового

просвещения, не одну ли только пыль и полову глотаем?»* В «Походных записках офицера», т. е. в тех же черновых набросках к «Письмам русского офицера», одна из заметок озаглавлена «Выезд из Парижа». В ней Глинка подводит итог заграничным впечатлениям: «Революция раздражила страсти, воспламенила головы. Бедные офицеры... могут ли смотреть спокойно из убогих изб своих, как богачи станут пировать в дачах своих. Революция уже много уравнила состояние. Здесь все еще тесно жить. Быть чему не есть во Франции... Фитиля нет, а порох остался». Наконец, одну из последних глав «Писем русского офицера», судя по «Записным походным книжкам», Глинка собирался назвать «Предвестия революции». Отрицательное отношение к современной Франции не помешало русскому офицеру пристально присмотреться к эпохе социальных потрясений, понять реальные силы французской революции, прозерить наблюдения над русской жизнью европейскими впечатлениями и убедиться в возможности повторений революционных потрясений. В буржуазной Франции он не нашел того, что мысленно искал. «Свобода, братство, равенство были только на языке и в мечтах, а смерть на самом деле». Глинка уловил в современной европейской жизни глубокие социальные противоречия, два крайних полюса — «богатство» и «бедность». Отказ от богатства и роскоши, просвещение нравов и уравнивание сословий он считал единственно реальным путем к достижению действительно нового общественного строя. «Сила, бодрость и свежесть отмечали юность народов. В те времена, — говорится в «Письмах к другу», — ощущения были живы, струны сердец натянуты, и звуки оных полны, сильны и чисты. Великие мужи тех веков любили веру, отечество, свободу, не терпели притеснения и не страшились смерти. Везде соблюдали они справедливость, везде ратовали добродетели и повсюду разили порок. Раствление нравов, роскоши, изнеженный образ жизни и множество неизвестных дотоле причин ослабили впоследствии тела, унизили душу и помрачили умы. Благородный дух народов, паривший прежде орлом, стал пресмыкаться змеєю». Себялюбие «попало все добродетели, и частные выгоды растерзали общее благо».** Противопоставление

* «Походные книжки» хранятся среди бумаг Ф. Н. Глинки в Центральном государственном литературном архиве, ф. 141.

** Письма к другу, ч. 3, стр. 63—64.

порочной цивилизации ранним в порядке социальной истории формам человеческих отношений, отличающимся большим демократизмом, противопоставление народных форм формам буржуазного строя с его социальной несправедливостью легло в основу критики Глинкой современной Европы. Еще в 1808 году в журнале «Аглая» Глинка напечатал свои «Мысли», в которых признавался, что «желал бы быть Зевсом для того, чтобы бросить гром на злодеев и лить реками отраду в сердце несчастных». Глинкой была придумана специальная формула: «Рубище скрывает часто лучшие добродетели». Но тем не менее Глинка далеко не все принимал в учении Руссо об естественном состоянии людей, которое пользовалось в передовой среде исключительной популярностью. Глинка доказывал «несбыточность мечтаний женеvского философа». «Был ли золотой век (состояние невинности), о котором гласит древность, или это воображение поэтов?» Глинка не сомневался, что «золотой век» есть «воображение поэтов» и прежде всего Руссо. «Общественный договор» не приложим к практике, ибо нельзя человечество вернуть ко временам его детства и преградить ему движение вперед. Руссо полезен для тех обществ, которые «захотели бы сформироваться», для обществ, находящихся на первой ступени своего развития. Что касается обществ сформировавшихся, то для них идея о «золотом веке» просто несбыточна. По словам Глинки, аристо-демократическое правление, подобное правлению древнерусских республик, где участвовали две воли, «воля старшин и посадских и воля народа», может считаться единственно реальной и разумной формой правления.

В «Письмах русского офицера» (ч. 6) Глинка считает целесообразным обсудить в своем отечестве:

Почетна ль истина в судах?
Всего ль чтут выше добродетель?
Несчастных друг и благодетель
Всегда ль уважен и почтен?
Везде ли совесть — чтут законом?
Сирот и вдов внимают стонам?

В этих вопросах сказывается мироощущение будущего Глинки, энергичного деятеля Союза Благоденствия. К тому же в них есть много общего с законоположением тайного общества, с известной «Зеленой книгой», в которой

говорилось о необходимости человеколюбия, правосудия, защиты невинно притесненных, общественного и личного благотворительства.

Учитывая воздействие заграничных впечатлений на передовую офицерскую молодежь, было бы крайне ошибочно социально-политические и культурно-исторические предпосылки декабристского движения искать только в этой внешней сфере. Будущие декабристы исходили прежде всего не из европейских впечатлений, а из явлений русской жизни. Это главное. В письме от 29 апреля 1814 года Глинка спрашивал: «Как-то примут нас в отечестве нашем, когда бог судит воротиться?» Думая о представителях дворянской интеллигенции, заслуживших право на политическую свободу, Глинка в неменьшей степени волновался о будущем русского крестьянства, которое отстояло честь и независимость родины. Он его себе представлял в несколько идиллических тонах: «Тут в веселом пиру товарищей за ковшами пенистой браги или за чарами им же добытого вина воины-поселяне, разнежась на привале, с неизъяснимым умилением беседовать станут о прежних днях побед».* Молодые русские патриоты, возвращавшиеся на родину с жадной деятельностью и преобразований, понятно, были оскорблены, когда получили в качестве «благодарности» от Александра I аракатеевщину. На обратном пути в Россию, проезжая многие города и села, Глинка наблюдал крайнюю бедность селений, произвол, казнокрадство и бюрократизм чиновников. «Проедешь Оршу, Дубровку, Борисов и Минск и ничего не заметишь, — писал на обратном пути автор «Писем русского офицера», — кроме бедности в народе и повсеместного разрушения». В почтовых учреждениях царил непроходимый беспорядок, а проезжающим давалось право посылать жалобы и «никогда не зная, удовлетворен ли он или нет». «Люди, сочинявшие сии строгие постановления в тишине великолепных кабинетов, конечно, никогда не езжали под именем простых офицеров или бедных путешественников. Побывав в когтях станционных хозяев, они заговорили бы совсем другим языком». Прочитав эту меткую характеристику бюрократических порядков России, министр просвещения граф Разумовский заявил протест: «В шестой части изданных

* Письма русского офицера, ч. 8, стр. 165.

в Москве и напечатанных в типографии Селивановского «Писем русского офицера», на стр. 88 и 89, — писал гр. Разумовский П. И. Голенищеву-Кутузову 25 августа 1815 года, — помещены весьма дерзкие замечания на почтовые в России учреждения и, особенно, под руководством коих они сделаны. Не понимаю, как московский цензурный комитет, не взирая на многократные замечания и выговоры начальства своего, беспрестанно пропускает статьи, явным образом противные уставу о цензуре, и не смогу не предполагать, что цензоры пропускают сочинения, вовсе не прочитывая оных. Прошу, ваше превосходительство, и о настоящем случае сделать замечание цензурному комитету и строжайший выговор профессору Котельницкому, одобрявшему вышеупомянутую книгу, также принять меры, чтобы подобные упущения впредь не могли случиться».*

Глинка не ограничился «весьма резкими замечаниями на почтовые в России учреждения». В письме «Приближение армии к Москве» он противопоставил народ дворянству, достойных сынов отечества вельможам и богатым людям, отъезжающим в дальние губернии. «Все вельможи, все богатые люди выехали в дальние губернии; большая часть сокровищ увезена. Оставшееся купечество и толпа народа готовы были еще защищать священные стены древних зданий, храмы божии и гробы царей российских, но, видя отступающую армию, оставляя все, следовали за оною. Многие показали такие примеры пренебрежения собственных выгод и преданности к общей пользе, которые удивляли нас только в истории: сии усердные сыны Отечества сожигали собственные дома свои, дабы не дать в них гнездиться злодеям».** В «Письмах русского офицера» народ выступал как активная историческая сила. Огромная заслуга Глинки и заключалась в том, что он сумел показать, насколько важную роль сыграла война 1812 года в развитии народного самосознания.

Изображение Отечественной войны как национально-героической эпопеи, главным героем которой был русский народ, полностью соответствовало декабристской концепции по этому вопросу. «Наполеон вторгся в Россию, и

* Центральный государственный исторический архив в Ленинграде, о. цензурного комитета, д. № 10 307

** Письма русского офицера, ч. 5, стр. 199.

тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу, тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии народной», — писал А. Бестужев Николаю I из Петропавловской крепости. Он же пояснял, что «еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дом, впервые разнесли ропот в классе народа». «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа».* Александр I ограничился тем, что русским воинам, совершившим беспримерный героизм, ответил манифестом от 30 августа 1814 года, где о крестьянстве было сказано следующее: «Крестьяне, верный наш народ, да получают мзду от бога!» И эту мзду крестьяне получили от Аракчеева, который говорил: «Пусть вся дорога от Петербурга до Чудова будет покрыта трупами, а военные поселения будут существовать».

В «Письмах русского офицера» четко проведена и вторая декабристская тема — о бесправии русского народа, о «дымной избе поселянина». В последних главах своих «Писем» Глинка с глубоким разочарованием говорил, что на родине попрежнему тысячи простых русских людей страдают и бедствуют, живут в нищете и бесправии. «Люди все те же, что и были. Пожары не просветили умов, и злополучие не успело еще смягчить сердец. Прежние страсти и прихоти выползают из пепла и старое свое господство утверждают в новых домах. Роскошь и богатство запевают прежние песни. «Бедность не порок!» — говорят равнодушно светские умники, лежа на богатых диванах».** В «Письмах к другу» Глинка признается: «Нужды общественные умножаются, голос нищеты с каждым днем становится слышнее».***

Изображение войны 1812 года как героической народной эпопеи становится центральной темой передовой публицистики и беллетристики. В частности Грибоедов собирался написать драму «1812 год» и уже сделал набросок сцены, в идейном отношении очень близкий к письмам Глинки. Крепостной крестьянин М. остается в осажденной Москве,

* Письмо А. А. Бестужева из крепости о положении России после наполеоновских войн. См.: М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. Киев, 1906, стр. 129—133.

** Письма русского офицера, ч. 6, стр. 65.

*** Письма к другу, ч. 1, стр. 157.

потом бежит оттуда, чтобы сражаться во «всеобщем ополчении без дворян», тогда как сановные вельможи, изменив патриотическому долгу, постепенно исчезают из Москвы, спасая свою жизнь и богатство.

А ныне знать, вельможи — где они?
Тот князь, твой восприемник от купели?
Его жена? родня? Исчезли все.
Их пышные хоромы опустели.

В заключение своей драмы Грибоедов собирался рассказать о трагической судьбе крепостного крестьянина. «Прежние мерзости. М. возвращается под палку господина, который хочет сбрить ему бороду». У Глинки: «Прежние страсти и прихоти выползают из пепла». Более существенно совпадение идейной концепции: «вельможи» и «знать» («богатые люди») «выехали» или «исчезли», тогда как простой народ показывает примеры «преданности к общей пользе».

«Письма русского офицера» и «Письма к другу» — яркие художественно-политические документы эпохи, создавшей декабристов. Появление в свет «Писем русского офицера» и «Писем к другу» совпало с началом общественно-политической деятельности Глинки, с его вступлением в Союз Спасения. Пришло время, когда «истинные сыны отечества», по словам Глинки, решили отложить «все личные выгоды» и взяться за восстановление «довольства в народе». «Да надобно ведь знать и то время. Если рыбу, разгулявшуюся в раздольных морях, посадить в садок, и та всплескивает, чтобы вздохнуть божьим воздухом — душно ей. И душно было, — вспоминает Глинка, — тогда в Петербурге людям, только что расставшимся с полями побед, с трофеями, с Парижем и прошедшим на возвратном пути через сто триумфальных ворот почти в каждом городе, на которых на лицевой стороне написано: «Храбромю российскому воинству», а на обратной: «Награда в отечестве». — И разгулявшиеся рыцари попали в тесную рамку обыденности, в застой совершенный, в монотонно томительную дисциплину Шварца и пр. Ну вот пошли мечты и помыслы».*

* «Русская старина», 1871, кн. 11, стр. 245.

НА ПУТИ К ДЕКАБРИСТСКОЙ ПОЭЗИИ

Литературная судьба Глинки-поэта более чем незадачлива. О нем если и вспоминали дореволюционные историки литературы, то между строк, в общих обзорах русской поэзии, как об эпигоне Жуковского, мистике и филантропе. Такому одностороннему и неверному взгляду частично способствовало позднейшее творчество Глинки, когда религиозно-мистические настроения стали у него господствующими. А, между тем, Глинка в молодости близко стоял к Пушкину и Рылееву, он был видным поэтом и общественным деятелем декабристского направления. В лице Глинки декабристы имели отличного организатора литературно-общественного движения, опытного руководителя филиалов тайного общества. Одновременно Глинка являлся зачинателем декабристской прозы и поэзии. «Письма русского офицера» и «Письма к другу» свидетельствуют, что Глинка вполне сознательно вступил в тайное общество и что декабризм для него не был случайным увлечением, хотя он и не пошел до конца с декабристами. В литературном творчестве, как и в общественно-политической деятельности, Глинку нельзя сравнить с Рылеевым. Между ними существует такое же различие, какое было между Союзом Благоденствия и Северным обществом, просветительской агитацией и 14 декабря. Глинка не был и не мог быть вторым Рылеевым, но предшественником Рылеева он являлся. Глинке принадлежат первые мысли о литературе в духе позднейших деклараций декабристов, и он создал первые образцы декабристской прозы и поэзии.

«Письма к другу» открывались рассуждением «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года», которое предварительно появилось в «Сыне отечества» (1816, ч. 27, стр. 138—162). Вопрос шел о так называемом «историческом повествовании», но высказанные Глинкой положения с успехом распространяются на литературу и публицистику в целом. Именно война 1812 года натолкнула на мысль о необходимости иметь самобытную и героическую литературу. В «Письмах к другу» содержится целая программа, обосновывающая необходимость иметь самобытную литературу. «Во все времена и у всех почти народов, — говорит Глинка, — слава языка следовала за славой оружия, время и возрастая вместе с нею. Но где во

вселенной не говорят теперь о России? и где говорят языком ее?.. Имя отечества нашего сияет славою немерцающею, а язык его безмолвствует!»

«Письма к другу» должны быть учтены при изучении декабристской прозы и публицистики как самый ранний манифест декабристского романтизма. В них о самобытности и гражданственности было сказано совсем в духе позднейших выступлений Рылеева, Кюхельбекера и Ореста Сомова. Подробно коснувшись такого важного вопроса, как интерпретация исторического материала, особенно «деяний отечественных героев», Глинка в своих письмах об «историческом повествовании» и об «историческом путешествии» дает определение высокого и самобытного слога, очень близкое к определению изящной словесности, которое мы находим в законоположении Союза Благоденствия. Его мнение о повествовании сводится к следующим положениям:

1. Слог «исторического повествования» должен быть исполнен «важности, силы и ясности». «Слог грека Фукидида, римлянина Тацита и нового Тацита Иоанна Миллера без сомнения послужит образцом. Но отнюдь не должно упускать из вида и древнего славянина Нестора, которого рукою водила сама истина: должно напоить перо и сердце свое умом и духом драгоценнейших остатков древних рукописей наших».

2. Слог должен быть «чист, ясен и понятен». «Понятен не для одних ученых, не для одних военных, но для всякого состояния, ибо все состояния участвовали в славе войны и в свободе Отечества».

3. Следует очистить русский язык от засилия иностранных слов и выражений. «Русские не потерпели ига татарского; не потерпели нашествия галлов и двадцати языков; они, конечно, не потерпят и владычества чуждых наречий в священных пределах словесности своей».

4. Проблему самобытного слога можно разрешить, опираясь на летопись, народные предания и песни. Должно «вслушиваться в старинные песни» и «разные местные наречия, в которых несомненно найдется «много любопытного и для нас теперь еще нового». «Старинные народные предания, песни и стихотворения русские — вот прямые источники для исторического путешествия».*

* Письма к другу, ч. 1, стр. 31, 36, 41, 64 и ч. 2, стр. 8.

Глинка руководствовался в рассуждении об «историческом повествовании» и отечественном слоге стремлением выразить в современной литературе национальное самосознание, окрепшее в годы Отечественной войны. Статья Глинки печаталась в 27 части «Сына отечества», а в 30 части того же журнала за 1816 год появилась катенинская баллада «Ольга». Глинка и Катенин в то время состояли в Союзе Спасения и были активными участниками Общества военных людей. Выступление Катенина в защиту просторечия и народности в какой-то мере перекликалось с выступлением Глинки в защиту «исторического повествования» и самобытного слога. Напомним, что баллада Катенина вызвала ожесточенный спор, что в разгоревшейся полемике Грибоедов взял сторону Катенина. «Бог с ними, — замечал Грибоедов в «Сыне отечества» (ч. 31), — с мечтателями; ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, везде мечтания, а природы ни на волос». Кюхельбекер в том же «Сыне отечества» (ч. 103), но уже девять лет спустя, в 1825 году, ставил в заслугу Катенину его баллады, которые «по сю пору одни, может быть, по всей нашей словесности принадлежат поэзии романтической». Пушкин тоже одобрительно отзывался о «простоте и даже грубости выражений» катенинских баллад и называл автора их «одним из первых апостолов романтизма». Выступление Катенина в защиту самобытного слога оценивалось современниками с точки зрения борьбы за подлинный романтизм в литературе.

Нужно думать, что выступление Глинки в «Сыне отечества» в той или иной мере способствовало пробуждению интереса к самобытным формам поэзии и в свою очередь не было лишено полемической направленности. Дальнейший ход дискуссии о подражательной и самобытной поэзии только подтверждает органическую связь выступлений Глинки с последующими декларациями декабристов.

В «Письмах к другу» не только намечена, но и в самом первом варианте разрешена гражданская тема. Книга начинается статьей «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года», а заканчивается исторической повестью «Зиновий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия». В отличие от ставшего традиционным идилического изображения Украины (В. И з м а й л о в. «Путешествие в полуденную Россию»; кн. П. Ш а л и к о в. «Путешествие в Малороссию»), Глинка изображает

«блистательную эпоху жизни героя, которая была вместе и незабвенною эпохою освобождения Малороссии». Историческое повествование о Богдане Хмельницком было создано на основе большой предварительной работы над материалом. «Я, — признавался Глинка, — старался получить о нем всевозможные сведения во время пребывания в Киеве, Чернигове и на Украине. Я собирал всякого рода предания, входил во все подробности и вслушивался даже в песни народа, которые нередко объясняют разные места истории его». Таким образом были собраны «главные черты из жизни Хмельницкого и сделан, так сказать, очерк жизнеописания его». В историческом «путешествии», в описании важнейших мужей отечества украинской старине предпологалось отвести одно из самых почетных мест. «Кто исчислит все подвиги и заслуги жителей Дона и Малороссии на поприще воинском и гражданском?.. Сколько знаменитых мужей, — признавался Глинка, — породили счастливые страны сии под ясным небом своим, мужей, которых имена живут в потомстве и будут сиять немерцаемым блеском и в позднейших летописях наших!..»

Повесть «Зиновий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия» мы можем считать образцом нового исторического романа, в основе которого лежало декабристское отношение к исторической теме. * Для Глинки Богдан Хмельницкий прежде всего борец за права народа, «начертанные на могилах предков его и запечатленные их кровью». Богдан Хмельницкий рассказывает о сне, который предвосхищает все дальнейшее развитие сюжета: «Не само ли небо послало мне столь усладительный сон? и не предвещает ли он будущего? Выслушай, отец мой! что мне снилось, выслушай!» Дальше следует изложение сна. «Сначала все бедствия Отечества нашего, как бы в некоей пространной картине, живо и совокупно представились взору моему. Бедные поселяне уныло влачили плуг, под грозою бича литовского. Кровавым потом и горькими слезами орошали они землю, которой плоды расхищали у них гордые властелины. Девы отторгались сластолюбием тиранов от сердца матерей; юноши насильно влеклись из домов

* Письма к другу, ч. III, стр. 139—192. Перепечатана с незначительными изменениями в «Соревнователе», 1819, № 1. Отд. изд. СПб., 1819. Цитируем по первоначальному тексту. См. «Письма к другу», стр. 148, 158—159, 163—164. Повесть не была закончена, и продолжение не появилось.

отческих под кровавые знамена врагов. Цвет полей и злак наших нив пожираем был конями литовскими — и сыны Малороссии, лишенные воли, собственности и законов, изгибались под тяжким бременем даней и налогов. Томно отзывался скрытый стон народа, глухо звучали цепи рабства. Солнце, казалось, не хотело светить стране поращенной. Ночь и безмолвие окружили Отечество наше. Вдруг блеснула молния, прогремел гром, и вслед за ним раздался голос невидимого: «Восстаньте и бодрствуйте: час свободы настал!..» В тысяче местах воспрянули рабы, и цепи сокрушились... Тут солнце воссияло во всем своем блеске, мрак исчез, небо раскрылось, и богиня, прелестная, как весна, цветущая всеми красами младости, остановилась в воздухе на золотом облаке. Она улыбнулась — и грома браней потухли; простерла руку — и навела тучную зелень на темные поля. Тысячи овец зашумели вокруг источников, нивы озлатились, города начали возникать, и реки покрываться судами... Все узнали в богине сей — свободу. Свобода! — восклицали миллионы, и миллионы благоденствовали».

Через все «Письма» Глинки проходит мечта об освобожденном Отечестве, выраженная в форме сновидений. Сон Богдана Хмельницкого достойно завершает глинковские фантазмагии с их политическими намеками на современное состояние России, только что освободившейся от внешних врагов, но поращенной внутренней тиранией.

В повести Глинки содержатся почти все компоненты декабристской сюжетики: иносказательное описание, патетически-декламационный монолог героя, модернизация исторической старины, трагическая судьба борца. Сама тема из прошлого Украины отвечала основным стремлениям будущих декабристов, их поискам социально целеустремленной литературы. Исторический сюжет был преломлен Глинкой через идеи гражданственности и свободолюбия: «Свобода есть общее достояние всех людей!»

Глинка натолкнул на украинские сюжеты Рылеева. Помимо «думы» о Богдане Хмельницком, появившейся в «Русском инвалиде» (1822, № 54), Рылеев собирался написать о нем трагедию. За несколько дней до декабрьских событий Глинка был у Рылеева, и тот ему говорил о плане предполагаемой трагедии. «Рылеев был болен, — вспоминал Глинка в своих следственных показаниях 15 февраля

1826 года, — с сильной опухолью в горле и ни о чем не говорил, как только о разных предметах его поэм, также о трагедии «Богдан Хмельницкий», которую он начал писать, и намеревался объехать разные места Малороссии, где действовал сей гетман, чтобы дать историческую правдоподобность своему сочинению». Из задуманной трагедии остался лишь один отрывок «Гайдамак», напечатанный в 1825 году в «Соревнователе». Близость Глинки к Рылееву определяется не только общей для них интерпретацией исторического материала, но и одинаковым стремлением к самобытным формам поэзии. В отличие от эстетики классицизма, пренебрегавшей локальным элементом, декабристский романтизм ценил «местные» краски и национальный материал как первоисточники самобытной литературы. В историческом повествовании Глинки сказался тот метод революционной прозы и поэзии, который от Радищева, автора «Песен, петьх на состязаниях в честь древних славянских божеств», был усвоен Рылеевым и другими поэтами декабристской традиции, стремившимися в образах национально-освободительной борьбы выразить современную социальную действительность.

Федор Глинка не только дал пример нового исторического романа, в основе которого лежало декабристское отношение к исторической теме, но ему же и принадлежат первые опыты декабристской поэзии. Показательно название самого первого стихотворения Глинки, напечатанного в 1807 году в Смоленске, — «Глас патриота». И все остальные стихотворения, появившиеся в «Русском вестнике» в ближайшие годы, представляют собой патриотические гимны и оды с явным соблюдением принципов архаического стиля. В них Глинка выступал прямым учеником Ломоносова и Державина. Вот отрывок одного из самых ранних стихотворений: «Строфы из оды на победы под Пультуском и Прейсиш-Эйлау», появившиеся в 1808 году в «Русском вестнике» (ч. 2):

Простите, храбрые герои!
Я слабо подвиг ваш воспел;
Великодушны русски вои!
Вам должно сонмы ваших дел
Во славу, на скалах кремнистых,

Иль на досках металлических, чистых,
 В роды родов изобразить,
 Сколь многих я еще героев,
 Сокрытых в мгле кровавых боев,
 Не мог дел славных здесь вместить!
 И мне ль, певцу безвестну в мире,
 Сынов бессмертья воспевать?
 На слабой и нестройной лире —
 Не мне хвалы им соплетать.
 Их имена для всех священные,
 В сердцах потомков впечатленны,
 Столетия могут пережить;
 Поля побед для них — трофеем,
 Вселенна цела — мавзолеем
 Должна для сих героев быть!

Подобных примеров можно привести довольно много. Глинка воспользовался приемами высокой риторической поэзии для выражения патриотических чувств и «геройского шума». Минуя современные литературные течения, в частности увлечение легкой поэзией, он обратился к традициям русской поэзии XVIII столетия. Путь, избранный Глинкой в молодости, не мог привести его в «Арзамас», Глинка более тяготел к «Беседе любителей русского слова». Однако было бы крайне несправедливо поставить знак равенства между поэтической практикой Глинки и «шишковистов». Своеобразие Глинки состоит в его преднамеренной ориентации на поэзию большого государственного значения. В этом отношении он вполне заслуженно может считаться и подражателем и продолжателем поэзии Ломоносова и Державина. За Ломоносовым Глинка следовал по существу, широко используя поэтическую композицию ломоносовской оды, ее декламационно-ораторскую окраску, риторическую приподнятость и звуковые вопрошания, тематику, гражданский пафос и национальную героику ломоносовской поэзии. Достаточно, например, указать, что Глинка одновременно с «Гласом патриота» и подобными патриотическими гимнами в 1808 году выступил с отрывками из поэзии «Смерть Петра Великого» и с переводом 8-й главы книги «Иова», т. е. прямым образом продолжал тематику Ломоносова. «Не радостей собор сей жизни усладенье, дни скорбны петь хочу — России сокрушенья» — таков зачин глинковской поэмы, как бы продол-

жающей незаконченную героическую поэму Ломоносова о Петре I.*

Еще Великий Петр, Россию прославляя
И быстрой молнией по всем краям летая,
Там грады воздвигал, а тамо на морях
Сквозь бури он летал на новых кораблях,
Или в пылающих огнях гремящих боев
Творил, образовал для стран родных героев,
Душой, как чад, любя род верный россиян.

Стихотворений, напоминающих каноническую оду, с ясным соблюдением принципов архаического стиля, особенно много поместил Глинка в «Русском вестнике», издателем и редактором которого был его брат С. Н. Глинка, а также в «Трудах Вольного общества любителей российской словесности» (1818—1825 гг.). Такой архаической одой является «Гимн величию и всемогуществу божию».

Есть бог — пространством невместимый,
Кому вся вечность — тесный круг:
Повсюду сущий, никем не зримый
И все животворящий дух! —
Чей взор — моря благотворений!
Чья жадна мысль — есть ряд творений!
Кто весь — любовь и вечный свет!
Чья длань — объемлет бесконечность!
Речет: «Не быть мирам» — и нет!

И по началу этого гимна нетрудно убедиться, что не только форма религиозно-философской оды, но и мысль о боге, как о некоей субстанции полностью совпадает с державинской одой «Бог». Тяжеловесные и явно подражательные оды писались Глинкой не в кадетском корпусе, не в годы юношеских увлечений. Писались они в то время, когда «карамзинисты» культивировали камерную элегию, дружеское послание, альбомные «мелочи». Будучи членом Союза Спасения и Союза Благоденствия Глинка не от-

* Глинка начал свое творчество прославлением Ломоносова и закончил многолетний литературный путь стихотворением в честь Ломоносова. «Мальчик в лаптях и нагольном тулупе» — одно из последних стихотворений Глинки — посвящено Ломоносову. Замысел Глинки написать поэму о Петре I соответствовал общим установкам «Русского вестника». Первая часть этого журнала открывалась статьёй «Петр Великий», принадлежащей Сергею Глинке.

казался от «классических идиолов», он продолжал писать тяжеловесные оды и псалмы, отличающиеся обилием славянизмов и запутанностью синтаксиса.

Укажем, что Глинка принял непосредственное участие в знаменитом споре о слоге русского языка. В 1811 году в «Русском вестнике» он напечатал свои «Замечания о языке славянском и о русском, или светском наречии». Статья Глинки имела самое непосредственное отношение к нарождавшейся полемике между «шишковистами» и «карамзинистами». Автор «Замечаний» не присоединился ни к тем, ни к другим и занял промежуточную позицию; он указал, что «отделяя употребляемые слова от корней их, заключающихся в наречии славянском, мы вовсе истребим понятие о русском языке». Вопрос шел о славянском языке как об одной из основ создания и развития русского литературного языка. Глинка восторженно отзывался о «наречии славянском» и находил в нем много поэтической прелести, энергии и самобытности. «Какое изобилие! Какие возвышенные и какие величественные красоты в наречии славянском. И притом какие искусное и правильное сочетание слов, без чего и лучшие мысли теряют силу и красоту... Славянское наречие особенно отличается силою, краткостью, выразительностью. Силу и краткость и выразительность — постараемся сохранить в русском языке», — писал Глинка в своих «Замечаниях о языке славянском и о русском, или светском наречии».*

Выступление Глинки в защиту славянского наречия и одической поэзии предвосхищает выступления Катенина в «Сыне отечества» и Кюхельбекера в «Мнемозине». Катенин в 1822 году призывал следовать по пути Ломоносова и «новыми усилиями присваивать себе новое богатство, в коренном языке нашем скрытое». «Должны ли мы сбиваться с пути, им (Ломоносовым — В. Б.) так счастливо проложенного?» — спрашивал Катенин. «Знаю, — говорил он, — все насмешки новой школы над славянофилами, варягороссами и пр., но охотно спрошу у самих насмешников: каким же языком писать эпопеи, трагедии или даже всякую важную благородную прозу? Легкий слог, как говорят, хорош без славянских слов; пусть так, но в легком слоге не вся словесность заключается: он даже не может

* «Русский вестник», 1811, № 7, стр. 52—92.

занять в ней первого места; в нем не существенное достоинство, а роскошь и щегольство языка».*

Глинка был первым среди «младших» архаистов. Он восстанавливал в гражданских правах каноническую оду, религиозную и гражданскую, и, пытаясь создать столь же каноническую эпопею, в 1808 году в Смоленске закончил и издал «Вельзен, или освобожденная Голландия», трагедию преддекабристского толка.** Начальствующий над голландскими войсками главный герой трагедии Вельзен наделен всеми качествами гражданина. Вельзен — вождь восстания, простой и сильный человек, верный сын своего отечества. Мужественно и непоколебимо ведет себя голландский князь Инслар, он призывает к решительной борьбе против чужеземного ига и тирании. Его обращение к воинам и ответ Эрика и есть тот идейный стержень трагедии, который в дальнейшем движет развитие всего сюжета.

Инслар. Друзья! терзаемый сердечною тоскою,
Я собрал вас сюда в час общего покою;
В тот самый час, когда тиранство на цветах
И рабство под ярмом спит крепким сном в цепях,
К отечеству любовь зениц лишь не смыкает
И с плачем край родной из гроба вызывает!
Отечество живет в сердцах своих сынов!
Наш долг — оковы рвать; лить слезы — часть рабов;
Не плакать, не стенать, но действовать нам должно...
Или лютейшая тирана власть безбожно
Отнимет все у нас!..

Эрик.. И можно ль не стенать? Везде народ в мученье...
Цветущи области поверглись в запустенье,
И здесь на грудах тел, на пепле сел, градов,
В странах, в обширные пустыни претворенных,
На раменах рабов, под иго преклоненных,
Облитый кровию железный свой престол
Воздвиг и наводнил наш край реками зол
Тиран! — Толпы рабов, лья слезы, кровь, — страдают,
Но слышен ропот уж!.. Тирана проклинают.

«Вельзен, или освобожденная Голландия» — республиканская трагедия, вернее романтическая драма, направлен-

* «Сын отечества», 1822, № 13.

** Издана в Смоленске в 1810 году. Посвящение гр. Милорадовичу датировано 15 сентября 1808 года.

ная против тирана и деспотизма. На материале нидерландской темы здесь разрешена проблема политического иносказания.

Не только Вельзен и Инслар, но и Годмила, жена Вельзена, участвует в общей борьбе за священные права народа, помогает разить тирана. Она, гордая и независимая, смело высказывает свою ненависть к похитителю свободы нидерландского народа. Годмила с младенцем на руках предпочитает смерть в темнице свободе, добытой у деспота ценой позора и предательства. Борьба между материнским чувством и ненавистью к поработителю создают острую драматическую коллизию. Похищение Годмилы Флораном, как и все другие частные компоненты сюжета, служат главной идейной цели. Вельзену Годмила гсворит: «Ты для отечества Годмилу не щади». На слова Флорана — «Знай! я тебя люблю — к тебе питаю страсть» (наперснику Эдвальду Флоран поясняет свое понимание любви: «Я царь — она раба — как бог над ней я властен!») — Годмила отвечает: «Тиран! пронзи мне грудь себе для утешенья! Не жизнь, но честь щади! не царь, ты лютый зверь». Так образ матери и любящей жены включается в политический сюжет. Олицетворением тирании является Флоран — завоеватель и деспот. Такое сочетание в одном лице двух тираний позволяет решать параллельно две проблемы: изображать борьбу народа за свою национальную независимость и одновременно восстание республиканцев против неограниченной монархии.

Местный элемент в трагедии носит чисто условный характер. Если не знать по оглавлению, что действие происходит в древнем Амстердаме, то трагедия Глинки не имеет никакого отношения к Голландии, в ней есть абстрактный образ некоей страны, борющейся с столь же отвлеченным тираном. И все имена героев придуманы самим Глинкой, их нет в летописи нидерландских событий XVI века. Это не случайно, так как отдельные детали свидетельствуют о том, что изображение действия трагедии в Голландии было аллегорично, и Глинка в своей трагедии имел в виду прежде всего Россию. Флорана Глинка то и дело именует царем, чем сближает нидерландский сюжет с русской действительностью.

Свободу — или смерть!..

Страна, лишенная законов и свободы,

Не царство — но тюрьма: в ней пленники — народы...

Подобная тирада могла относиться ко всякой стране, лишенной законов и свободы, а к России в особенности. В печатках к тексту трагедии Глинка вынужден был несколько разрядить специальный подбор слов: свобода, закон, царство, тюрьма. Он несколько ослабил свой намек на Россию, дав слово «царство» за печатку и предложив читать: «темница скорбная — в ней пленники народы». Однако во всех остальных стихах, посвященных Флорану, слово «царь» остается:

Кто смеет рассуждать, коль царь велит карать!
Рабам ли о делах монарха рассуждать

и т. д.

От ига жестокого деспота Флорана стонет весь народ.
Флоран достиг престола путем преступлений и жертв:

...Флоран, взойдя на здешний трон,
Скрепляя смертью кровавое правленье,
Цветущие страны привел в опустошенье...

Совершенно по-иному выглядит страна, когда царствует справедливый монарх, избранный самим народом. Кандидат на трон Вельзен, осененный славой побед над тиранией, как истинный патриот, заботящийся прежде всего о благе своего народа, а не о своем собственном благополучии, предлагает передать престол законному наследнику покойного короля Алфреда — его сыну Эдгарду, «подданных другу и благодетелю». Обращаем внимание на следующий диалог: «Все: «Законного царя признать наш общий долг». Один из народа: «Мы глас сей повторяем. Отца отечества на царство избираем!» Концепция о незаконных царях, скрепивших смертью кровавое правленье, и о царях «законных», освободивших соотечественников от «оков и рабства», в годы царствования Александра I, когда память об убийстве Павла ставленниками первого была слишком свежа, в политическом отношении являлась более чем двусмысленной. Через несколько лет подобная «двусмысленность» встретится в пушкинской оде «Вольность». Характерно, что из всех республиканских трагедий 10—20-х гг. трагедия Глинки наиболее оптимистическая. Борьба свободных духом голландцев кончается полным торжеством гражданской добродетели, низвержением тирании; в трагедии Глинки отсутствует мотив пострадавших «заговорщиков», предчувствие гибели. Совсем необычна для декабристской

поэзии, а для Глинки поры Союза Благоденствия особенно, подчеркнутая связь заговорщиков и организаторов тираноборческого движения с народом; «Вельзен» представляет собой счастливое исключение. Вожди войск и сами воины желают восстать против «железного трона», кровью обогрениго, они ждут с минуты на минуту, когда появится Вельзен, чтоб вместе с ним и под его руководством или за «отечество с восторгом умереть» или «тысячью смертей тирана поразить».

Автор «Вельзена» испытал двойное влияние: с одной стороны, Шиллера, автора «Разбойников» и «Заговора в Фиеско» и с другой — своего предшественника в России — Княжнина, автора трагедии «Вадим новгородский». Гражданская патетика и рационализм поэтического мышления, столь характерные для Княжнина, в трагедии Глинки соединяются с приемами шиллеровской декламации, раскрывавшей выход к политической теме через изображение эмоционально окрашенной личности. У Княжнина он берет пафос тираноборческих монологов, двупланность сюжета, установку на злободневно-политическую тематику; у Шиллера заимствует драматические эффекты, патетику, экзальтацию и напряженный тон в изображении человеческих переживаний. Глинка в частности мог знать «Историю отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества» Шиллера. В трагедии, как и в «Истории» Шиллера, мы видим «зрелище, где забитое человечество борется за свои благородные права», где мужество народа в неравной борьбе побеждает «страшные орудия тирании».* Но Глинка в отличие от Шиллера стремился не к историческому правдоподобию, а к максимально сильному, эмоциональному выражению идеи произведения — апофеоз борьбы народа за свою независимость.

Трагедию Глинки следует рассматривать не только в отношении ее генетических основ, но в перспективе декабристского романтизма. Нидерландская тема, впервые в России поднятая им, была продолжена Н. Бестужевым в «Записках о Голландии 1815 года», опубликованных в 1821 году в «Соревнователе» (ч. 15).

Почти одновременно с республиканской трагедией о Голландии Глинка написал поэму «Мечтания на берегах Волги», которая появилась на страницах «Русского вест-

* Ф. Шиллер. Собр. соч., СПб., 1901, т. 3, стр. 114.

ника» в 1812 году (№ 12). Эта поэма имеет по преимуществу описательный характер и проникнута элегическим настроением, близким нарождавшейся лирике карамзинистов.

О волжские струи! О холмы возвышенны!
Воскреснут ли при вас дни счастья обновленны!
Прольется ль в томну грудь веселая струя;
И буду ль, буду ль счастлив я?

Но тем не менее «Мечтания на берегах Волги» с их многочисленными вопрошаниями и восклицаниями несут на себе отпечаток известного рационализма. Воспоминания о военных походах и дидактические рассуждения заслоняют лирический образ странника, который ищет счастье не в пышных чертогах, а в скромной хижине, где можно «сердце успокоить».

Ранняя поэзия Глинки характеризуется явным тяготением к жанрам высокой поэзии: трагедии, гимну, оде, псалму, морально-дидактической аллегории, политической шараде и военно-исторической песне. Все эти жанры способны выразить темы важного государственного и общественного значения, а это было чрезвычайно важно для Глинки: в его творчестве историческая тематика, как и у других поэтов-декабристов и прежде всего у Рыльева, была поставлена на службу создаваемой им агитационно-гражданской поэзии в духе декабристского романтизма. Близость Глинки к Рылеву определялась и общей для них художественной интерпретацией исторического материала и одинаковым интересом к фольклору как к одному из основных источников национального самосознания, а следовательно и самобытной литературы. Не случайно Глинка одновременно с «Богданом Хмельницким» задумал создать несколько «сказок для народа», стремясь стать полезным писателем для «классов народа» (солдат и крестьян). Об этом он открыто заявил впоследствии в «Сказке про Луку да Марью»: «Огромные шкафы не вмещают более книг, для знатных и богатых написанных и редко ими читаемых; но нет десятка книг, даже пяти книжек, в которых бы и доброй поселянин мог находить себе урок и утешение... Везде есть палаты и хижины, богатство и бедность, вельможи и крестьяне, но нигде сии последние, к чести нашего времени, не признаются недостойными образования, просвещения, а следовательно, и счастья, которое, как свет солнца и воздух под-

солнечной, должно быть общим достоянием человечества».* Глинка писал «сказки для народа» по заданию Союза Благотворительности, устав которого предусматривал распространение «грамоты в народе» и издание соответствующих книг. Но сама идея о «народной» литературе у Глинки возникла значительно раньше, а именно в годы Отечественной войны. Под впечатлением Отечественной войны, национальной героической эпохи с ее «тысячами поселян», Глинка оформил свои взгляды на историческое повествование, которое должно быть написано так, чтобы «всякое состояние» могло его понять, ибо «все состояния участвовали в славе войны и в свободе отечества». Автор «Писем русского офицера», непосредственный участник войны 1812 года, воочию убедился в силе «воинов бородатых», и поэтому он в своей литературной программе ставил вопрос о необходимости создания народной литературы, понятной и доступной крестьянину и солдату.

Увлечшись идеей народности, Глинка много сделал в этом направлении: он разработал специальные жанры и стилистические приемы, способные отразить народную героиню и патриотизм, и это заставило его обратиться к фольклору. После сближения с воинами-поселянами он пришел к выводу, что солдат еще плохо разбирается в трагедиях, одах и элегиях, зато он с большим уважением относится к народным песням и сказкам. «Солдаты наши, — замечал Глинка, вспоминая о войне 1805—1806 гг., — большие охотники до сказок! Как теперь помню студеные, темные, дождливые осенние ночи, когда (в 1805 г.) отступали мы от крепости Браунау к Дунаю. Холод, голод, слякоть и непогода — все забывалось, когда ротный сказочник, смышленный красной, начинал сказку про храбрых витязей и могучих богатырей. Ружье становилось легко, как перышко, солдаты не слышали ни трудного перехода, ни вязкой дороги. Сказка очаровывала их».** В послесловии «Цель сей книги» («Подарок русскому солдату») он высказался о «сильном солдатском слоге»: «Русский солдат смышлен и догадлив: он все поймет и все уразумеет, если только будете говорить его языком, его говоркою... Я старался, сколько мог, придерживаться говорки солдатской, которой наслы-

* Ф. Н. Глинка. Сказка про Луку да Марью. СПб., 1818, стр. 21—22.

** Ф. Н. Глинка. Подарок русскому солдату. СПб., 1818, стр. 133.

шался в походах и в лагерях от самих же солдат. Сказку про Луку да Марью старался я писать слогом народным, а эту книжку солдатским слогом. А кто первый сотворил у нас быстрый (как скорый марш), легкий, живой и сильный солдатский слог! — Суворов, великий Суворов. Его тактика написана истинно солдатским слогом, зато солдаты знали и твердили ее наизусть, как любимую сказку или песню».

Писать «солдатским слогом», понятно и просто, писать так, чтобы песни и рассказы прочно вошли бы в народное сознание, — вот основная задача поэта-воина, стремившегося опыт Отечественной войны перенести в литературу. Военные романы и песни Глинки — очень важная и интересная глава в истории русского романа и песни. Глинка не боится народного быта и не чуждается просторечия: простота и цельность эмоций — вместо нюансов Жуковского; солдатская удаль и народная героика без условного молодчества, большой патриотический энтузиазм вместо интимных, слишком личных переживаний песенной дворянской лирики придают его поэзии подлинную самобытность. Песни Глинки есть смелое отступление от элегического стиля, они соприкасаются скорее с высокой поэзией.

Военно-исторические песни Глинки наряду с «Письмами русского офицера», также составляют важное звено в развитии гражданственности и народности в литературе 20-х гг. Из отдельных песен, вернее говоря, стиховых повестей, складывается поэтическая летопись Отечественной войны 1812 года: нападение наполеоновских полчищ на русскую землю («Военная песнь»), русский народ поднимается на защиту своего Отечества («Солдатская песнь»), бой под стенами Смоленска («Прощальная песнь русского воина»), подготовка к Бородинскому сражению («Песнь сторожевого воина»), отступление русской армии и вторжение врага в Москву («Песнь русского воина при виде горящей Москвы»), русская армия переходит в наступление и теснит врага («Авангардная песня»), освобождение родной земли («Песнь старого казака»), бегство французов («Песнь русских воинов»).

Отмечая исключительно широкую популярность народных военных песен, Глинка в указанном выше послесловии в книжке «Подарок русскому солдату» ссылается на слова известного донского атамана, героя 1812 года М. И. Платова: «Русский солдат любит петь! И радость и горе изливает он в песнях веселых или жалобных. «На Дону —

песня — история», — так сказал мне однажды знаменитый вождь донской, покойный граф М. И. Платов. И у нас в старину военные песни заключали в себе весьма любопытные предания исторические. Впрочем, сильное влияние песен на дух войска и народа везде и повсюду неоспоримо».

Свидетельство Глинки об агитационном значении песни заслуживает особого внимания. В период наивысшего подъема декабристского движения Рылсев и А. Бестужев использовали народно-песенный жанр в целях политической агитации. Судя по воспоминаниям Н. Бестужева, «простолюдины» увидели в песнях Рылеева и Александра Бестужева изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем». Влияние песен на «дух войска и народа» оказалось настолько существенным, что правительству пришлось «всеми мерами» истреблять песни, подобные «Ах, тошно мне и в родной стороне», а Рылееву и Бестужеву, — серьезно подумать о целесообразности распространять свои песни в народе, так как их широкая популярность только бы приблизила революцию, которая не могла быть «не кровопролитна и не долговременна».*

Военно-исторические песни Глинки не имеют прямого отношения к декабристским песням Рылеева и Бестужева; они воспринимались современниками в их прямом смысле, как песни о борьбе русского народа за свою национальную независимость. Но среди многочисленных официальных од и посланий, романсов и песен, вошедших в «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» (изд. 1814 г.), опыты «народной» поэзии Глинки отличаются не только своим «солдатским слогом», но и трактовкой войны 1812 года и той характерной гражданственностью, которая через несколько лет будет восприниматься под иным углом зрения, в духе декабристского свободолюбия. Конечно, песни Глинки не народные песни в подлинном смысле этого слова, фольклоризм их очень условен. Рассчитанные в конечном итоге не столько на песенное исполнение, сколько на декламационное произношение, военно-исторические песни звучат местами необыкновенно торжественно, как гражданские оды и «думы»:

России верные сыны!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,

* Восстание декабристов. Централхив, ГИЗ, 1927, т. 1, стр. 457—458.

Пойдем и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь, где узы плена,
Иль смерть — где русские знамена?
В героях быть или в рабах?
(«Военные песни»).

Приведем еще один пример из военно-исторических песен — «Картина ночи пред последним боем под стенами Смоленска и прощальная песнь русского воина». Участник войны 1812 года, «свидетель битв и славы», обращается к своим товарищам:

Друзья мои, товарищи, сподвижники в боях!
Настанет скоро страшный день, и битва загремит!
Застонет дол и темный бор от сечи роковой,
И ясу зорю утренню и солнца лик младой
Затмит, поднявшись тучами, над смертным полем дым!
Друзья мои, товарищи! сподвижники в боях!
Настанет скоро страшный день, и битва загремит:
Бог знает, кто останется, друзья, из нас в живых!
Но сладко, сладко в битве пасть за родину свою!

Возвышенно-декламационный стих, а главное скопление таких слов и выражений, как «верные сыны», «друзья», «отечество», «народ», «слава», «свобода», «узы плена», «герой», «рабы» и «тиран» — все это предвосхищало декабристскую гражданскую оду, и действительно, в дальнейшем творчестве самого Глинки произошел смелый перенос: свободолюбивая фразеология приобрела новую функцию, как сама антитеза «рабы» и «тиран», «свобода» и «неволя», тема о борьбе угнетенного народа за свою национальную независимость в 20-х гг. стала восприниматься в более широком смысле, как тема борьбы с тиранией вообще и с тиранией одного лица в частности. Современная действительность начала выступать в условных образах, в исторических костюмах прошлого, в зашифрованном виде. Далеко не все предки и не все прошлое находят доступ в декабристскую поэзию; поэтизация распространяется на определенные исторические эпохи, на избранные исторические сюжеты. Этот так называемый литературный маскарад легко прослеживается на примере ранней глинковской поэзии. Одно-

временно с военно-историческими песнями, которые воспринимались современниками как песни об Отечественной войне 1812 года, Глинка создает первые декабристские стихотворения, причем стилистические приемы и даже фразеология остаются неизменными, меняется только семантика отдельных слов, благодаря чему образуется второй, «подводный» сюжет.

11 октября 1817 года на очередном заседании Вольного общества словесности, наук и художеств Глинка читал свои «Опыты двух трагических явлений». Тогда же «Опыты» появились на страницах «Сына отечества» с довольно любопытным примечанием автора: «Вместо имен действующих лиц поставлены здесь номера, ибо отрывок сей (два явления) не принадлежит ни к какому целому, а написан только для опыта, чтоб узнать, могут ли стихи такой меры заменить александрийские стихи и монотонию рифмы, которая едва ли свойственна языку страстей». Выход за пределы классической традиции рифмованных ямбических стихов и переход к более свободным стиховым формам, к дактило-хореическому гекзаметру и вольному стиху, Глинка объяснял стремлением преодолеть «монотонность рифмы», т. е. стих он оценивал с точки зрения живой декламации. Вопрос, таким образом, шел о функциях поэтической речи, о взаимодействии семантики и ритма. Под «языком страстей» Глинка имел в виду язык высокой гражданской поэзии: силу выражения, интонационное богатство стиха и его ораторскую направленность. Содержание первого явления «Опытов двух трагических явлений» состоит в том, что «один из верных сынов покоренного тираном отечества увещевает сограждан своих в тиши ночи к поднятию оружия против насильственной власти»:

Друзья! уклоняясь от злобы врагов,
К свиданью полночный назначил я час.
Теперь все спокойно, все предано сну;
Тиранство, на лоне утех, на цветах —
И рабство во прахе под тяжким ярмом,
Спят крепко!.. Не спит лишь к отчизне любовь!
Она не смыкает слезящих очей:
Скитаясь по дебрям, при бледной луне,
Рыданьем тревожит полуночный час
И будит свободу от смертного сна.
Свобода! отчизна! священные слова!
Иль будете вечно вы звуком пустым?

Нет! мы воскресим вас! Не слезы и стон,
(Ничтожные средства душ робких и жен),
Но меч и отвага к свободе ведут!
Умрем иль воротим златые права,
Что кровию предки купили для нас!
Чем жизнь в униженьи, стократ лучше смерть!

Одновременно с «Опытами двух трагических явлений» Глинка в «Сыне отечества» (1818) печатает «Отрывки из Фарсалии». «Вот еще, — снова предупреждает автор, — слабый перевод одного из сильнейших мест в Фарсале. Мне желательно только знать, — может ли предлагаемый здесь размер быть не единственным, но одним из размеров, способных для трагедии». И вновь за оговоркой о размере грозно звучит речь великодушного Катона:

Друзья! все свершилось, наш жребий решен:
Отныне забудем забавы, покой
И все, чем ласкает беспечная жизнь,
Влекущая к рабству свободы сынов.
Простимся с отчизной... что родины край,
Где стонут народы, цепями звуча?

По своей политической направленности и этот «Отрывок» имеет прямое отношение к первым опытам декабристской поэзии. Сам выбор сюжетной ситуации — борьба Катона с Цезарем — имел прямое отношение к пропаганде Союза Спасения и был актуален для современности. Три десятка строк из монолога Катона вмещают в себе весь сплав декабристской фразеологии: «рабство», «свобода», «сыны», «отчизна», «родной край», «стонут народы», «цепями звуча», «позорный сей плен», «свободные римляне», «тяжелый ярем», «рабы» и т. д.

IV.

ЭЛЕГИЧЕСКИЙ ПСАЛОМ

Н. Бестужев рассказывает в своих воспоминаниях о желании Рылеева выйти на Сенатскую площадь в русском кафтане. Так он хотел «сродниться с поселянином в первом действии их борьбы». Однако Бестужев отсоветовал: «Русский солдат не поймет этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию твоему благородному, но неуместному поступку,

к чему этот маскарад?» Выслушав Бестужева, Рылеев задумался и сказал: «В самом деле, это слишком романтично».* Декабрист-заговорщик, готовившийся выйти на Сенатскую площадь в русском кафтане, и поэт-гражданин, одевающий своих героев в костюмы предков, — явления почти тождественные, в одинаковой мере романтичные. Если Рылеев в Петербурге в ночь на 14 декабря мечтал о русском кафтане, то Сергей Муравьев-Апостол на юге, в Василькове, в ночь с 30 на 31 декабря, когда члены Общества соединенных славян готовились к восстанию, дописывал свой «Катехизис», предназначенный для солдат Черниговского полка. С. Муравьев-Апостол уверял, что бог создал человека свободным и счастливым, а земным деспотам пришла «подлая мысль» господствовать, чем и были нарушены человеческие права, дарованные самим богом.

Вопрос. Для чего же русский народ и русское воинство несчастно?

Ответ. Оттого, что цари похитили у них свободу.

Вопрос. Стало быть, цари поступают вопреки воле божийей?

Ответ. Да, конечно. Бог наш рек: «Воля в вас да будет вам слуга». А цари тиранят только народ.

Республиканец Сергей Муравьев-Апостол советовал «взять оружие и, низложив неправду и несчастье тиранства, восстановить правление, сходное с законом Божиим», он убеждал членов тайного общества «действовать на русских солдат религией» и, ссылаясь на Библию, «внушать им ненависть к правительству», дабы русский солдат, опираясь на «повеление Божие», не колебался «поднять оружие против своего государя».

Обращение к священному писанию как к одному из основных источников политической пропаганды предусматривал и Глинка. Посвящая в тайны общества Григория Перетца, Глинка советовал в дальнейшем «обращать внимание к политическим наукам», читать «конституции разных государств» и приводить из Библии законы Моисея, доказывая, что сам «бог покровительствует конституционным правлениям».

Декабристский катехизис — это речь с амвона, воззвание к народу, проверенное средство агитации. Библейской символикой проникнуты речи представителей английской

* Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 85.

буржуазной революции XVII века. «Кромвель и английский народ, — указывал К. Маркс, — воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета».* Декабристы создавали свои речи, тоже опираясь на библейские традиции, на ораторское искусство ветхозаветных пророков.

Библейская символика становится в 10—20-х гг. достоянием художественной прозы и поэзии и используется для выражения тираноборческих мотивов. Еще в 1816 году, когда возник Союз Спасения или Общество истинных и верных сынов отечества, в «Сыне отечества» (ч. 25) появился «Исполнительный разряд российских христиан» («Сновидение»). Напечатан этот «Исполнительный разряд» без подписи, но едва ли автором его не был Глинка, в то время усиленно печатавшийся в «Сыне отечества». Сам жанр фантазмагии, проблематика очерка и его фразеология более чем показательны для Глинки. В обязанности «российского гражданина», согласно «Исполнительному разряду» входило: «помогать человеку в бедности», «вникать в существо причин бедности», оказывать «вспоможение страждущим», участвовать в «благотворительных обществах», показывать пример «безкорыстия» и «благотворительства», «распространять трудолюбие», «укреплять нравственность и добродетель людей», заботиться о «воспитании юношества» и с этой целью открывать «публичные заведения», «распространять повсюду любовь к истине и добродетели». В «Сновидении» Глинки содержится много общего с положениями Устава Союза Благоденствия. «Распространять между соотечественниками истинные правила нравственности и просвещения», «трудиться к благоденствию соотечественников», при виде несчастного «подавать ему помощь», «сопоставлять человеколюбивые общества и заведения», «во всех поступках оказывать благородство и высоту души, добродетельному человеку свойственные», «доказывать, что жестокость с подвластными есть дело бесчестное», «внимание родителей обращать на воспитание детей», «заводить учебные заведения для воспитания молодых людей» и т. п. — таковы предписания «Зеленой книги».

Мы не случайно остановились на отношении декабристов к священному писанию. Без знания декабристской

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VIII. стр. 393.

«библии» нельзя понять «духовную поэзию» Глинки. Глинка создал жанры более специального назначения, нежели элегия, ода и трагедия. В частности его элегический псалом и тематически и конструктивно восходит к библейской поэзии и к традициям русской поэзии XVIII века. Одни и те же псалмы неоднократно перелажались и до и после Глинки. У Ломоносова и Державина от псалма путь лежал к оде, воспевающей общественные добродетели. Если для представителей риторической школы классицизма псалмы были важны с религиозно-этической точки зрения, то для Ломоносова и Державина они часто превращались, по словам Л. Ильинского, в произведения «общественного характера, часто в политические (в понимании того времени) памфлеты».* Современники имели основание в державинских псалмах видеть намеки на современность и на события тогдашней общественной жизни. Литературное приспособление псалмов имело место в эпоху 1812—1814 гг., например: «На совершенное истребление неприятельских войск в пределах России» Писарева — подражание 78-му псалму, «Подражание псалму 2-му» — в 1812 году, «Подражание псалму 19-му» — в 1812 году, «Подражание псалму 28-му» Шатрова — в 1814 году, «На соединение армии под стенами Смоленска 1812 года 22 июля» — «духовное» стихотворение Глинки. Одновременно в начале XIX века «русская библия» становится достоянием второстепенных поэтов, отрицательно настроенных в отношении новаторов в поэзии, в частности гр. Хвостова. Таким образом, на этой архаической жанровой «площадке» в 10—20-х гг. сталкивались самые противоположные идеи, это же мы наблюдаем в разных редакциях русского «катехизиса» («Катехизис» Карамзина и «Катехизис» Муравьева-Апостола). Достаточно, например, сказать, что наряду с трагедией и одой гражданского состава Глинка культивирует псалом-оду, близкую державинской оде «Властителям и судиям», которая, в свою очередь, воспроизводила риторическую конструкцию и метрическую схему псалмов. Идея гражданского искусства и поиски звучащей и патетической формы вызвали у Глинки острый интерес к «славянскому наречию», к псалтырю, библии, «Книге Иова», «Книге пророка Исая», «Псалмам Давида». Глинка считал, что церковно-славян-

* Известия Отд. русск. яз. и слов. Академии наук, 1917, т. XXII, стр. 319.

ский и старорусский языки являются более благоприятной речевой стихией для высокой поэзии, нежели язык «карамзинистов», рассчитанный на стабильные темы дворянского салона. К тому же не следует забывать, что декабристы религию почитали «не в наружных только признаках, но в самых делах», что они использовали священное писание в целях политической агитации. Выступление Глинки с элегическими псалмами свидетельствует о его тяготении к поэзии архаической, отличающейся обилием славянизмов и запутанностью синтаксиса, о его стремлении подчинить стилистику витийственного классицизма новым задачам, требованиям декабристской гражданственности. В своей ориентации на поэтическое наследие XVIII века Глинка не был одинок. Кюхельбекер, Рылеев, Грибоедов и Катенин видели в русском классицизме элементы будущего подлинно народного искусства. Они ценили в классицизме его приверженность к темам высокого звучания, его политический и государственный пафос, его общий размах. Классицизм был во многом противоположен нарождавшейся тогда интимно-бытовой поэзии, оторвавшейся от больших общественных проблем, чрезмерно преувеличивавшей мир личных переживаний. По языку эта интимная поэзия тяготела к бытовой лексике избранного дворянского круга, она чуждалась просторечия, народного языка.

Поэзия Глинки не укладывается в обычные определения классицизма и романтизма. «Я не классик и не романтик, а что-то сам не знаю, как назвать», — признавался поэт в письме к В. В. Измайлову (1826 г).^{*} В этом — «не классик и не романтик» — сложность и противоречивость литературных позиций, своеобразии поэтической системы Глинки. В ряде жанров — трагедия, ода, псалом, морально-дидактическая аллегория и политическая шарада — он прямой продолжатель поэтических традиций XVIII века; в других случаях, когда он прибегал к фольклорной имитации или создавал свои элегии, он отходил от них. Но тем не менее, сложность литературных позиций Глинки состоит в том, что в борьбе за народность и романтизм в литературе он опирался не столько на новейший романтизм и французский классицизм, сколько на традиции русской поэзии XVIII века (Ломоносов, Державин) и на некоторые положения, выдвинутые «славянами».

^{*} «Московское обозрение», 1877, № 16, стр. 416.

И теоретически и практически Глинка проявил исключительно большое внимание к эстетике русского классицизма. В русской поэзии XVIII века были накоплены элементы, которые он стремился развернуть в жанрах более частного и специального значения. По своей поэтической манере Глинка — поэт-классик, смело заимствующий у русской поэзии XVIII века ее стилистику и ее принципы более общего значения: архаический словарь и, наконец, возвышенно-декламационный, богатый экспрессиями стих. Используя традиции классицизма, Глинка обновил и обогатил их опытом гражданской поэзии, стремясь подчинить высокие жанры идеям освободительной борьбы. В отличие от многих карамзинистов, Глинка считал, что поэтическое произведение должно быть обращено к широким слоям, а не к избранному кругу. Поэтому он искал яркого, выразительного слова, которое придавало бы поэзии политический и государственный пафос. Его не удовлетворяли ни изысканная речь, смысл которой доступен только посвященным, ни игра на специфической догадливости читателя, которую так любили «карамзинисты». Он охотно пользуется просторечием, народным языком. В то же время он использует славянизмы и библеизмы, а также поэтический язык Ломоносова и Державина. Глинка пробует восстановить в гражданских правах оду с явным соблюдением архаического стиля. В своих элегических псалмах он воскресил стилистические принципы Ломоносова и, прежде всего, его возвышенно-декламационный стих. Глинка, вслед за Ломоносовым и Державиным, придавал огромное значение строфическому распределению синтаксических целых, интонационному значению «вопросаний» и «восклицаний». Его «Опыты священной поэзии» (СПб., 1826) и тематически и конструктивно восходят то к величавым песням ветхозаветных пророков, то к поэзии Ломоносова и Державина. Соприкасаясь с традициями библейской поэзии, а также с традициями XVIII века, частью классической, частью сентиментальной, поэзия Глинки, особенно его элегический псалом, теснейшим образом связана с политической поэзией декабристов. Глинка называл свои псалмы «голосистыми» и, тем самым, подчеркивал свою установку на громкость и торжественность. В недрах церковнославянского языка он видел неиссякаемые источники возвышенной поэтической речи. Шероховатость стиля, частые инверсии, усложненность словаря и синтаксиса, «словотвор-

чество», новизна оборотов и изобретение более свободных форм стиха — все это результат разведки в область высокого искусства, зовущего к «добру и правде». Есть еще одна сторона в элегических псалмах Глинки, которая также целиком и полностью принадлежит декабристской эстетике: вопрос идет о поэте-пророке. Поэт-пророк, который «блажит праведника» и «клянет изверга», является лирическим героем Глинки, центральным образом его «священной поэзии». Образ поэта-пророка был намечен Грибоедовым в стихотворении «Давид». Кюхельбекер, руководимый «злым духом» Грибоедова, в статье «О направлении нашей поэзии» писал в «Мнемозине»: «Поэт-пророк вещает правду и суд промысла, торжествует о величии родимого края, мечет перуны в супостатов, блажит праведника, клянет изверга». Таким в частности был глинковский поэт-пророк. И идейно и структурно образ поэта-пророка близок декабристскому поэту-гражданину. В «Опытах священной поэзии» Глинка выступал не как утешитель или пассивный мечтатель, а именно как проповедник и агитатор. Его элегический псалом, полный энергии и мужества, богатый вопросительными и восклицательными интонациями, следует понимать в связи с общей борьбой декабристов за высокую поэзию.

В своей ориентации на поэтическое наследие XVIII века Глинка не был одиноким. Выступления Грибоедова и Кюхельбекера в защиту оды и трагедии говорят об общем желании декабристов подчинить стилистику ломоносовской и державинской оды задачам современной политической агитации. Современные политические идеалы и лозунги переводились в образы библейской поэзии; библейские сюжеты истолковывались в духе декабристской идеологии. В одном из ранних стихотворений Одоевского «Молитва русского крестьянина», впоследствии опубликованном во французском прозаическом переводе, содержится резкая критика социальной несправедливости с ссылкой на священное писание. «Бог любит свободных. Боже сильный! я долго в своих молитвах, — говорит крестьянин, — взывал к царю, твоему представителю на земле. Царь не услышал моей мольбы» и т. д. Напомним, что Пушкин в борьбе с салонным языком «карамзинистов» иногда обращался к церковно-славянизмам и превращал их в острое орудие политического воздействия. В письме к князю Вяземскому он признавался: «Я желал бы оставить русскому языку

некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристала».* Высокие поэтические и гражданские достоинства библейской поэзии признавали Грибоедов и Кюхельбекер. Образ поэта-пророка, которого гонит «черная судьба», противостоял в лирике Грибоедова и Кюхельбекера образу поэта-эпикурейца, закрепленному поэтической практикой карамзинистов. Не без влияния Кюхельбекера, как это убедительно доказали Ю. Н. Тынянов и Б. С. Мейлах, Пушкин создал известное стихотворение «Пророк». В стихотворении Кюхельбекера «Пророчество» содержатся следующие строки:

Восстань, восстань, пророк свободы,
Воспрянь, взвести, что я вещал!

Стихотворение Пушкина «Пророк», судя по воспоминаниям Д. В. Веневитинова, имело следующую концовку:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вокруг смиренной выи
К царю. . . . явись.

Это уже — совсем как в воззвании Бестужева-Рюмина: «Бог умилосердился над Россиею, послав смерть тирану нашему». Архаическая окраска только способствовала возвышению поэтической и публицистической речи до агитационно-пропагандистского монолога.** Исследователи указывают на сходство пушкинского «Пророка» со стихотворениями Глинки «Пророк» и «Глас пророка», написанными на мотивы той же библейской «Книги пророка Исайи». Пушкинский «Пророк» был написан в 1826 году, и тогда же вышли «Опыты священной поэзии» Глинки. Не следует библейскую символику слишком переоценивать, но отрицать роль ее в декабристской поэзии — просто абсурдно.

* А. С. Пушкин. Собр. соч., изд. Академии наук. Переписка, т. 1, стр. 85.

** Н. В. Фридман высказывает рабочую гипотезу, что стихотворение «Пророк» написано под свежим впечатлением казни декабристов. В статье «Образ поэта-пророка в лирике Пушкина» содержатся ценные наблюдения над пушкинскими «Подражаниями Корану», в частности сравнение ссыльного поэта с «гонимым пророком» («Учебные записки» МГУ, 1946, вып. 118, кн. 2, стр. 83—108).

Переложение псалмов и использование библейских сюжетов Глинка считал столь же важным делом, как и восстановление образов античной истории и изучение летописей. Менялась декорация, менялись костюмы и маски, но метод толкования оставался у него прежним. На наш взгляд «Православный катехизис» Сергея Муравьева-Апостола и «священная поэзия» Федора Глинки — дополняют и комментируют друг друга. В одном случае мы имеем дело с декабристской публицистикой, в другом — с декабристской поэзией. В основе их лежит одно и то же стремление превратить библейского бога в участника земных декабристских замыслов. Разница между Муравьевым-Апостолом и Глинкой состоит в политическом радикализме первого и в умеренности второго. При этом Глинка руководствовался уставом Союза Благоденствия, где говорилось, что «человек не иначе, как с помощью веры может преодолеть свои страсти, противостоять неприятным обстоятельствам и, таким образом, шествовать по пути добродетели». Некоторые псалмы в обработке Глинки стали звучать вполне социально и актуально.

Стиль элегических псалмов, их словарь, ритм и синтаксис полностью соответствовали агитационному тону декабристской поэзии, высокому гражданскому пафосу. Рационалистическая простота, ясность мысли, отсутствие украшающих эпитетов и сравнений, богатство славянизмов и, наконец, контрастирующие образы — таковы их основные стилистические принципы. Церковно-славянская фразеология приобретала в результате этого отвлеченно свободолобивый характер: «тираны», «глас свободы», «злодеев слух», «неволи дни суровы», «рабы, влачащие оковы». Традиционно-библейские образы здесь необыкновенно смело переключаются в план гражданских идей и текущих политических вопросов. Образ пророка-обличителя был несомненно близок гражданской поэзии декабристов. Элегические псалмы Глинки, полные гнева против поработителей, идут в русле выступлений декабристов в защиту национально-освободительного движения в Греции и Испании. В том и другом случае мы имеем дело с декабристской агитационной поэзией. Подобная трактовка песен ветхозаветных пророков вполне соответствовала декабристскому отношению к библии (ср. «Катехизис» С. Муравьева-Апостола). Религия здесь выступала как определенная политическая мораль, как сила, карающая «нечестивцев» за их «беззакон-

нис». В псалме «Преходящий мир» о «князьях» и «златопоклонниках» говорится следующее:

Не уповайте на князей,
На сих светил бессветных света,
На ласку ложного привета,
На блеск обманчивых связей!
Я знаю их и их чертоги!
А вы, земные полубоги,
Кумиры суетной молвы,
Как и в богатстве бедны вы!
Их, бедных, мутных, страсти гложат,
Как змеи череп мертвеца,
И неусыпные сердца
Мечты и призраки тревожат.
Златопоклонники в душе!
Вы бога чтите лишь устами,
И сладко жить вам в суете,
Друг друга резать клеветами!

В основу стихотворения «Преходящий мир» положен 145-й псалом, из которого в качестве эпиграфа взяты слова: «Не надейтесь на князья, на сыны человеческия, в них же несть спасения». Псалом 145-й неоднократно перелажался в русской поэзии. Точно следуя за каноническим текстом, Полоцкий основную мысль псалма выразил в следующих строках своего переложения: «В сынех человеческих вы не уповайте... Един царь и господь небесныя породы». Ломоносов использовал этот псалом в своей «Риторике» (II и III, § 273) как пример силлогизма: «Первая посылка разделительного силлогизма может быть отставлена, и вместо оной положен быть краткой приступ, как то видно в псалме 145-м, который основан на следующем разделительном силлогизме: или уповать на бога, или на князей сынов человеческих; но уповать на них ненадежно; следовательно, лучше уповать на бога. Для яснейшего понятия прилагается оного псалма парафрастическая ода:

Хвалу всевышнему владыке
Потщися дух мой воссылать.

В переложении Сумарокова на первом плане мотив относительности человеческого счастья: «И пышны титла все сокроются во гробе».

Не уповайте на князей,
Они рождены от людей,
И всяк по естеству на свете честью равен,
Земля родит, земля пожрет:
Рожденный всяк, рожден умрет,
Богат и нищ, презрен и славен.

Глинка на основе псалма создает вполне оригинальное стихотворение, своеобразную сатирическую оду, близкую державинской оде «Властителям и судиям». В глинковском «псалме», как и в целом в его «Опытах священной поэзии», даны основные принципы двупланной семантики стиха и сюжета, затеняющей реальное содержание образов и в то же самое время вызывающей специальный круг вполне реальных ассоциаций, игру смысловых нюансов.

Ключ к стихотворению «Преходящий мир» находится в 6 части «Писем русского офицера». В «Письмах» содержится тот же мотив, но только в прозе и без семантической игры. В одном из офицерских писем Глинка с возмущением говорит о «светских умниках», утопающих в азиатской роскоши, когда тысячи русского народа, отстоявшего в 1812 году честь и независимость родины, продолжают страдать и бедствовать. «Как для нив благотворенные дожди, — замечает автор «Писем русского офицера», — так для разоренных нужна помощь. Но от кого ждать ее? От людей! Ах, чем более узнаем их, тем менее на них надеемся. *«Не надейтесь ни на князя, ни на сыны человеческия!»*, — повторяет печально странник мира, умудренный опытом. — Люди все те же, что и были. Пожары не просветлили умов, и злополучие не успело еще смягчить сердце. Прежние страсти и прихоти выползают из пепла и старое свое господство утверждают в новых делах. Роскошь и богатство запевают прежние песни. «Бедность не порок», — говорят равнодушно светские умники, лежа на богатых диванах».*

«Священное» стихотворение Глинки о «чертогах» и «земных полубогах», «златопоклонниках в душе» представляет собой не просто переложение 145-го псалма, а своеобразную контаминацию этого псалма с одним из писем русского офицера. Библейская символика глинковского псалма подразумевает вполне земную действительность:

* Письма русского офицера, ч. 6, стр. 65.

в «Письмах русского офицера» эта действительность выступает в плане исключительно реальном. Приведем еще один пример из «Опытов священной поэзии» Глинки. Стихотворение «Блаженство праведного» пояснено ссылкой: «Псалом I». Из псалма I приводится соответствующая строка: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста». В псалме следует продолжение: «... и на седалищи губителей не седе. Но в законе господни воля его, и в законе его поучится день и ночь. И будет яко древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет».

В стихотворении Глинки «блажен муж» превращен в гражданина, хотя и «небесного»:

Но он в полях стоит один,
Сей дуб корнистый, величавый:
Таков небесный гражданин!
И процветет он в долгой жизни,
Как древо при истоках вод;
Он будет памятник отчизне,
Благословит его народ.

И этот псалом известен в переложении Полоцкого, Ломоносова и Сумарокова. В псалтыре Полоцкого на первом плане образ господа в прямом смысле этого слова:

Весть бо господь путь правых, тья защищает,
Путь паки нечестивых вконец погубляет.

В ломоносовском «Преложении псалма I» псалом перестает быть «духовным» стихотворением, «яко древо, насажденное при исходящих вод», становится просто деревом, деталью описательной картины:

Как древо он распространится,
Что близ текущих вод растет,
Плодом своим обогатится,
И лист его не отпадет.

Стихотворение Ломоносова проникнуто стихийным материализмом: в центре изображения природа, данная в ярких зрительных образах: дерево, воды, плоды и лист.

У Сумарокова, наоборот, псалом переводится в дидактический план, и «блажен муж» приобретает черты сумароковского положительного героя: «не входит в совет не-

праведных людей», «со беззаконным не садится», «читит божественный устав», «колько можно, он трудится». «Яко древо» — образ иносказательный, за ним скрывается нравовучение, олицетворение жизни праведного «мужа». Псалом становится притчей:

Здрав лист его не увядает,
И вихрь его не оторвет:
Подобно так сей муж живет:
Успехом дела обладает.

Стихотворение Глинки — тоже аллегория, но образ «праведного мужа» не сумароковский, в нем намечен положительный герой декабристской лирики: «Но он вперил на правду очи», «Везде он чист, душою прям», «И смело борется с судьбой», «Сей дуб корнистый, величавый» — метафора «небесного гражданина», который «будет памятен отчизне», «благословит его народ». Рылеев «идеальным гражданином» избрал Державина, Глинка же положительным героем своей «священной поэзии» сделал царя Давида. Не случайно на титульном листе «Опытов священной поэзии» была изображена арфа Давида. В «Письмах к другу» Глинка ссылаясь на слова Давида: «Бразды его упоятся, поля исполнятся тука, удаления умножат пшеницу, пустыни зыграют весельем, и холмы препояшутся радостью». Подобную обетованную землю, где мудрый монарх печется о благосостоянии народа, Глинка не раз рисовал в своих фантазмагориях и «сновидениях». В «Письмах к другу» он снабдил давидовы слова примечанием: «И кто не пожелает, чтобы слова сии сбылись во всем пространстве значения их над человеком, умеющим понимать горе ближних и облегчить страдания обиженных».* В стихотворении «Сила имени божиего» псалмопевец Давид произносит декабристский монолог и окончательно сближается с лирическим героем Глинки:

Не бойтесь, други! ярой мести,
Не унижайтесь пред судьбой:
За дело правды мы и чести
И за отчизну держим бой...
..Готовьтесь, храбрыс друзья,

* Письма к другу, ч. 2, стр.74.

Бесстрашьем встретить их удары,
Мужайтесь: бога прозрел я!

В некоторых псалмах Глинка слышится ропот не только против земных царей и князей, но против бога, который медлит в своем суде. Иногда этот ропот переходит в открытый упрек:

Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели,
Оковы и мечи звенели,
И сильный слабого терзал.

Подвергая библейские сюжеты светской обработке и насыщая их земными мотивами, Глинка тем самым подчинял псалмы своему мировоззрению и своей поэтике. Стремление Глинка превратить бога в активного участника политической борьбы придавало элегическим псалмам форму своеобразного обращения, агитационного монолога, в котором поэт убеждал своего небесного слушателя опуститься на землю, «восстать» и «двинуться»:

Встань же, двигнись, бог великой!
Возьми оружие и щит,
Смути их в радости их дикой!
Пускай грозой твоей вскипит
И океан и свод небесный.

Библейская символика и торжественные обороты книжно-славянской речи часто служили для Глинка источником гражданской патетики и возвышенных мотивов, взятых в общем контексте современной действительности, человеческой практики и политических идей. Восприняв песнопение «священной поэзии», Глинка создавал вполне оригинальные произведения, живые и энергичные псалмы, духовные оды и «думы». В неопубликованном предисловии к «Опытам священной поэзии» Глинка указывал, что его «стихотворение не следует считать ни буквальным переложением, ни близким подражанием священным псалмам». «Справедливо то, что я брал иногда общий смысл, иногда же только некоторые стихи из целого псалма и, сообразуясь с новейшим способом стихосложения, выражал так, как было прилично вдохновению, двигаемому тогда моею душою».* Глинка брал из псалмов отдельные мысли и обра-

* Это предисловие находится среди бумаг В. В. Григорьева (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде).

зы и, путем художественного и идейного переосмысления, подчинял их задачам политической и филантропической агитации. Часто псалмы являлись отзвуками настроений поэта и содержали в себе намеки на события не только общественной, но и личной жизни поэта.

Сохраняя у своих псалмов и од церковно-славянский колорит, Глинка широко привлекал «просторечие», «нагую простоту» разговорной речи и новейший способ стихосложения. Языковое новаторство Глинки состоит в смелом сочетании книжно-славянских элементов с элементами разговорно-бытового языка эпохи: «Оковы и мечи гремели», «Сильный слабого терзал», «Не стало дел ни прав священных», «Молчал обиженный закон» — фразеология более декабристская, нежели библейская. В этом же псалме («Горе и благодать») архаика словаря (востекал, человек, глад), старинные элементы морфологии («Сокрылась кроткая любовь и человек род лукавый») объединяются с элементами просторечия, «высокое» с «низким» («Господь как будто почивал, а на земле грехи кипели», «град... на трупах пирова»). Это взаимопроникновение разговорной лексики и книжно-славянской речи определило своеобразие стилистики многих глинковских псалмов.

Насколько поэтический стиль глинковских псалмов самобытен, свидетельствует переложение 103-го псалма. Тема псалма — сотворение мира. Ломоносов считал этот псалом одним из величайших произведений, особенно его поражала картина мироздания. Псалом 103-й известен в переложении Полоцкого, Ломоносова, Сумарокова и гр. Хвостова. Сравнительное изучение отдельных вариантов показывает, что стихотворение Глинки представляет собой самый вольный и самый поэтический перевод. Громоздкость цитат не позволяет развернуть отдельные переложения параллельно друг другу. Мы ограничимся кратким извлечением из переложения Глинки и сообщим соответствующий мотив из псалма 103-го.

Из 103-го псалма:

Посылая источники в дебрех, среди гор пройдут воды.

Напоят все звери сельные, ждут онагри в жажду свою.

На тех птицы небесные привитают, от среды камня дадут глас.

Мотив сотворения воды Глинка развертывает в яркое описание, в величавую картину торжествующей природы, полную жизни и красок.

...Разумный житель красных сел
 И дикий зверь дубрав приходит
 Пить воды и прохладу вод.
 И под дубравую ветвистой
 С своею песней голосистой
 Пернатый гнездится народ.
 Ты дал нам золотые нивы,
 И умащающий елей,
 И винограда сок игривый...
 С ним сердце бьется веселей.
 Бежит над пропастию смело
 Младая серна по горе;
 И угнезвился кролик белый
 Во мшисто-каменной норе.
 Твоя луна в свой час урочный
 Идет, как страж, на небеса;
 И в час покоя, в час полночный,
 Ты внемлешь рев и голоса
 К тебе зверей, просящих пищи,
 Твоя любовь им корм дает;
 Но луч рассвета чуть мелькнет,
 Спешит в дубравны логовищи.
 Тогда выходит человек
 С своею спутницей-заботой;
 Но красит он земной свой век
 Трудом, искусством и работой...»

(«Северные цветы» на 1832 год, стр. 158—163).

Иногда Глинка так трактовал библейские сюжеты и образы, что «высокое» становилось низким, а небесное слишком земным и даже обыкновенным. Псалмы Глинки пестрят такими выражениями: «бог пошлет своих жнецов», «господь как будто почивал», «разоблачитесь небеса» и т. д. Прозаизмы часто врываются совершенно неожиданно. Образ бога снижается до такой степени, что псалом становится, по выражению Пушкина, «ухарским», и, как высказался однажды баснописец И. А. Крылов в разговоре с М. П. Погодиным: «Глинка с богом за панибрата, он бога в кумовья к себе зовет». Для Глинки, например, ничего не стоит сказать: «Я умираю от тоски! Ко мне, мой боже, притеки!» Некоторые псалмы звучат почти пародийно. Образ «великого бога» в них настолько снижен, что элегический псалом принимает

характер злой пародии. В стихотворении «Воззвание» Глинки в таких выражениях обращается к богу:

Куда ты, господи? Постой!
Внемли! Уж силы ослабели.
Как мать к младенческой колыбели,
Склони ко мне свой лик святой.

В «Псалме 94-м» поэт в житейски-простых и даже несколько грубоватых сравнениях рисует картину создания мира:

Господь на царство в небе стал!
Облекшись пышной лепотою,
И силы он препоясал:
И мощною свѣей рукою
Повел вселенную свою,
Как рыбарь легкую ладью.

На пародийно-каламбурный характер библейских мотивов в поэзии Глинки неоднократно указывал Пушкин. По-знакомившись с «Псалмом» —

Сверкай, мой меч! Играй, мой меч!
Лети, губи, как змей крылатый,
Пируй, гуляй в раздолье сеч!
Щиты их в прах! В осколки латы!
Ступай, — моя нетленна сталь!
Дроби их грудь, сердца их жаль:
Они пред богом виноваты.

— Пушкин очень удачно отметил в своем «Дневнике» его своеобразие: «После его ухарского псалма, — замечал Пушкин, — где он (Глинка — В. Б.) заставил бога говорить языком Дениса Давыдова, цензор думал, что он пустился во все тяжкие... Псалом Глинки уморительно смешон».*

Подобное же замечание сделал Пушкин, прочитав в «Северных цветах» за 1831 год стихотворение Глинки «Бедность и утешение», представлявшее интимное обращение к жене и оканчивавшееся стихами:

Ты все о будущем полна заботных дум:
Бог даст детей... Ну что ж? — Пусть он наш будет кум!

В письме к Плетневу от 7 января 1831 года Пушкин иронизировал по этому поводу: «Бедный Глинка, работает,

* А. С. Пушкин. Дневник. ГИЗ, М.-Л., 1923, стр. 67,

как батрак, а проку все нет. Кажется мне, он с горя рехнулся, кого вздумал просить к себе в кумовья!»

Псалмы Глинки можно подразделить на три жанровых разряда: оды-псалмы, элегические псалмы и «уморительно-смешные» или каламбурные псалмы. Оды-псалмы наиболее близки витийственному классицизму. Элегический псалом представляет собой комбинированный жанр: архаические принципы стиля здесь соединились с мелодическими достижениями элегической поэзии, а церковно-славянская фразеология уживается с просторечием, не создавая прямых и косвенных алогизмов. Каламбурные псалмы явились в результате парадоксального столкновения разных жанровых и стилистических канонов, создающего семантическую какофонию.

Глинковская «духовная» поэзия во многом противоречила современным вкусам и взглядам. «Поэзия моя, — замечал Глинка в письме к А. А. Краевскому, — если можно так назвать мои псалмы, возгласы и тому подобное, не по нынешнему веку: она жестка и темна, не посыпана тем сахаром, который льстит современному вкусу».* Глинка действительно любил «растянутый» псалом, поэзию жесткую и несколько шероховатую. Не случайно, когда заходит речь о Глинке, вспоминается дружеская эпиграмма Пушкина: «Наш друг Фита, кутейник в эполетах...» Но к нему же обращены пушкинские слова: «Но голос твой мне был отрадой, великодушный гражданин». Отмечая самобытность Глинки, Пушкин указывал на «энергическую пылкость» его таланта, на самобытность его элегического псалма, по которому так же легко узнать Глинку, как кн. Вяземского в стихотворных «размышлениях» и Крылова в баснях. Элегический псалом Глинки действительно был своеобразным художественным паролем, с которым он вошел в литературу 20-х годов и по которому можно определить особенности его поэтического дарования. Классицизм (Державин), затем молодая классика — Крылов, Грибоедов, Катенин — это наиболее близкая Глинке стихия в русской поэзии, но тем не менее своеобразие поэтического стиля Глинки не исчерпывается понятием классицизма, можно в этом плане говорить только об известных его связях и тяготениях. И Пушкин был в этом смысле совершен-

* Письмо Ф. Н. Глинки (без даты) хранится в Рукоп. отд. Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

но прав, когда в 1830 году в «Литературной газете», рецензируя поэму «Карелия», писал, что Глинка не есть приверженец ни античности, ни французского классицизма, что он «не следует ни готическому, ни новейшему романтизму».*

Признавая большие литературные и общественные заслуги Глинки, в частности высоко оценивая его элегические псалмы за глубину мыслей и смелость образов, Пушкин нередко в письмах к друзьям и эпиграммах наделял Глинку насмешливыми прозвищами: «псалмопевец», «Фита Кутейник», «Ижица в поэтах» и т. д. Это далеко не случайно, так как великий просветитель и атеист Пушкин глубоко верил в силу человеческого разума и выступал убежденным противником религии и церкви. Глинка, в отличие от Пушкина, был и оставался человеком глубоко верующим, его элегические псалмы с элементами пародии не укладывались в рамки его мировоззрения, его религиозно-дидактических стремлений. И здесь сказывается основное противоречие всей идеологии Глинки и прежде всего противоречивость двух тенденций — тираноборческой и религиозной. Это объяснялось тем, что общественные идеалы Глинки, как и большинства декабристов, не были основаны на реальном анализе исторической действительности, на изучении ее реальных тенденций. Отсюда потребность Глинки опереться на религию и ее нравственные догмы. Глинка старался вложить в религиозные понятия вполне земной смысл, сроднить их с земными делами декабристского заговора, приблизить таким образом декабристские идеалы к сознанию народа, изложить их языком,

* Нельзя не отметить, что оценка Глинки, данная Пушкиным в «Литературной газете», напоминает отзыв Пушкина о Катенине в статье «О сочинениях П. А. Катенина» (1833 г.): «Никогда не старался угождать господствующему вкусу в публике» и т. д. Ср. с рецензией Пушкина на поэму «Карелия», появившейся в № 10 «Литер. газ.» за 1830 г., отд. «Смесь,» стр. 48.

На своеобразии Глинки указывал Кюхельбекер: «Федор Глинка и однообразен, и темен, и нередко странен, но люблю его за то, что идет своим путем» («Русская старина», 1875, стр. 506). В дневнике Кюхельбекера имеется и такое замечание: «Я не слишком боюсь любитель русских, очень часто не русских слов, новейшей фабрики. Но глагол *опламенить*, употребленный Глинкой, хорош и мог бы, по моему мнению, войти в состав языка: если гозорят воспламенить, почему же не сказать при случае и *опламенить*, т. е. *озарить пламенем*» («Русская старина», 1883, июль, стр. 112).

понятным солдату и крестьянину. Пушкин прекрасно понимал это противоречие в творчестве Глинки. Иронически относясь к излишнему пиетизму и дидактизму его поэзии и особенно прозы, пародируя его манеру писать то слишком вяло, то слишком жеманно, Пушкин тем не менее прекрасно понимал, что Глинка был вполне оригинальным поэтом, что религиозно-дидактический элемент не заслонил в его псалмах свободолюбивых идей. Отсюда понятно, почему, упрекая Глинку за пиетические увлечения, Пушкин в известном послании к нему в 1822 году называет его «великодушным гражданином» и в 1830 году приветствует его псэму «Карелия» как произведение оригинальное и талантливое.

V.

ПОЭТ-ДИДАКТИК

В лице Глинки Союз Благоденствия имел сильнейшего и убежденнейшего идеолога и практика так называемого этического декабризма, рассчитывавшего на длительное просвещение и исправление человеческой нравственности. Долгое время Глинка возглавлял литературно-общественное движение в Петербурге и был президентом Вольного общества любителей российской словесности, которое фактически являлось идеологическим филиалом тайного общества. Ученая республика, как называлось Вольное общество, стала петербургским центром умеренно-либеральной дворянской общественности, возлагавшей все надежды на двадцатилетнюю просветительскую пропаганду и длительное нравственное самоусовершенствование. Одновременно Глинка являлся зачинателем декабристской прозы и поэзии, прошедшим школу политического воспитания в Союзе Спасения и в Союзе Благоденствия.

В 1818 году Глинка принял самое непосредственное участие в борьбе за новый устав «ученой республики», обеспечивающий реорганизацию Вольного общества в филиал Союза Благоденствия; в 1820 году он сделал все возможное, используя свои связи с гр. Милорадовичем, чтобы спасти «ученую республику» от разгрома реакцией; после закрытия Союза Благоденствия, когда в Петербурге отсутствовал активно действующий центр тайного общества, «ученая республика» не только не распалась, не прекратила

своей деятельности, но и еще более укрепились: Глинка привлек в нее бр. Бестужевых, Рылеева, Корниловича и Сомова, тогда еще не состоявших в тайном обществе, и тем самым превратил Вольное общество в важное промежуточное звено, соединявшее Союз Благоденствия с литераторами будущего Северного общества. И в годы деятельности Северного общества, когда Рылеев и бр. Бестужевы были не просто членами Вольного общества, а полномочными представителями нового тайного общества в «ученой республике», Глинка оставался в должности президента и продолжал руководить обществом, согласуя свои действия с мнением Рылеева и А. Бестужева.

Тем не менее Глинке принадлежит особое место в декабризме, его можно назвать декабристом без 14 декабря. Декабристы в своих показаниях восстановили реальный портрет Глинки как декабриста-постепеновца. Отвечая на вопросы Следственного комитета, кн. Оболенский свидетельствовал, что во время разговоров, касающихся тактики и планов тайного общества, Глинка всегда говорил: «Господа, я человек сему делу чуждый и благодарю вас за доверенность вашу: мой совет и мнение может быть только, что на любви единой зиждется благо общее, а не на брани». Но далее кн. Оболенский продолжал: «Мы в полковнике Глинке видели всегда такого человека, перед кем мы говорили свободно о действиях нашего общества».

В этой характеристике многое угадано совершенно верно. Отмечая идейно-художественную близость Глинки с Рылеевым, Кюхельбекером и Катениным, не следует забывать, что каждый из этих поэтов имел свои традиции, шел своим путем. Кроме общих эстетических и идейных принципов, общего тяготения к определенным жанрам, темам и сюжетам, в поэзии декабристов следует различать отдельные стороны общего процесса, отдельные оттенки внутри одного и того же литературного направления, обусловленные, во-первых, творческим своеобразием каждого из поэтов-декабристов и, во-вторых, сложностью и противоречивостью декабризма как общественно-политического движения. На позиции поэта-гражданина Глинка держался не столь уверенно, как Рылеев и Кюхельбекер. Он тяготел и к поэзии дидактической и к поэзии более интимной, более ограниченно-личной. Оглядываясь на свой пройденный путь, Глинка признавался в стихотворении «Два я»:

Два я боролся во мне:
Один рвался в мятеж тревоги,
Другому сладко в тишине
Сидеть в тиши дороги
С самим собой, в себе самом.

Глинка считал, что прежде всего следует навести порядок в нравственности человечества, а потом уже приниматься за радикальные перевороты. Поэтому дидактической поэзии, исправляющей людские пороки и прославляющей добродетель, он придавал особое значение.

Своим пониманием и оценкой дидактической и священной поэзии Глинка был близок к законоположению Союза Благоденствия, в котором говорилось о «мнимых удовольствиях» и «предметах разных человеческих страстей», которые удаляют от счастья, а также о необходимости «исполнения обязанностей касательно ближнего». В первом параграфе первой книги устава о цели Союза Благоденствия говорилось, что «добрая нравственность есть твердый оплот благоденствия доблести народной». Союз Благоденствия в святую себе обязанность вменял «распространение между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения». По «Отделу распространения знаний» законоположением предписывалось «изыскать средства изящным искусствам, дать надлежащее направление, состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, облагораживании и возвышении нравственного существа нашего».

«Что есть конституция?» — спрашивает Глинка. «Неизменное государственное постановление, руководящее правительство и сохраняющее права народа». Однако даровать народу конституцию, не исправив предварительно нравы, значит заблаговременно погубить хорошую идею. Нужно прежде подготовить общество к восприятию республиканского образа правления, а это можно сделать путем длительного влияния на ум и сердце сограждан. «Даровать самое лучшее законодательство народу, не исправя прежде нравов его, все равно, что налить драгоценный напиток в нечистый сосуд. — Чем же исправляются нравы? — В детстве воспитанием; а в прочих возрастах благоразумным порицанием. — Первое не допускает до пороков, другое преследует, разит и гонит их из общества». Достигнуть нравственного совершенства всех сословий, гармонии или

социального равновесия в обществе можно при помощи общественного воспитания. «Общественное воспитание, — по словам Глинки, — есть бесспорно лучшее из всех. Оно уравнивает все состояния и приучает питомцев к единомыслию и братскому союзу, что впоследствии может составить истинную неодолимую крепость общества».*

Благодаря Глинке и Гнедичу Вольное общество и его журнал «Соревнователь просвещения и благотворения» стали придавать дидактической поэзии особенно важное значение. На одном из заседаний «ученой республики» Гнедич провозгласил, что настоящий поэт должен быть «творцом нравственного бытия человечества». Несколько отвлеченная идея о нравоучительном предназначении поэзии в интерпретации Гнедича получила вполне декабристский смысл. В заключении своей речи Гнедич говорил: «Пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие, любовь к вере и отечеству, к истине и добродетели — вот, что нужно в такое время, когда благороднейшими свойствами души жертвуют эгоизму». В своем выступлении 13 июня 1821 года Гнедич прекрасно выразил мнение Союза Благоденствия относительно поэзии. Его слова — «без добродетели — гений ничтожен» — были девизом всего Вольного общества. Поэты-декабристы не проявили большого интереса к поэзии нравоучительной, считая ее слишком рассудочной. Однако сама идея о поэзии «высоких чувствований» несомненно соответствовала требованию Рылеева «употребить все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человечеству и всегда недовольно ему известных» («Несколько слов о поэзии»). Проблема нравственного совершенства волновала всех без исключения декабристов, и особенно тех из них, кто находился под непосредственным влиянием Союза Благоденствия и после ликвидации Союза не расстался с иллюзиями «Зеленой книги». Но, несмотря на ограниченно этический характер учения о нравственном долге как первоисточнике человеческой свободы и возвышенных чувств, на разных этапах декабристского движения оно осмыслялось по-разному. Рылеев, например, пришел к выводу, что высшим проявлением нравственного долга является способность жертвовать собой. Глинка полагал, что за кровь нельзя мстить кровью, он рас-

* Письма к другу, ч. 3, стр. 68, 72 и 59—60.

считывал на длительное нравственное влияние, ставил во главу угла пропаганду этических идеалов.

С дидактическими целями Глинка составил особый род «нравственной фантазмагии» и облек в поэтическое иносказание «сокровенные ощущения» и «высшие истины», предполагая, что нравственный долг должен вызывать эффект сострадания к «страждущим». Моральная целесообразность искусства, по мнению Глинки, состоит в разрешении конфликта между человеческими страстями и нравственным долгом. Этим определяется основная идея «Опытов аллегорий или иносказательных описаний в стихах и в прозе», вышедших одновременно с «Опытами священной поэзии» (СПб., 1826). В системе условных образов, в поэтической дидактике Глинка усматривал средство найти доступ к уму и чувству читателя. Как показывают «беспечным зрителям, посредством оптического стекла, ряд красивых явлений, не осязаемых, но видимых и понятных», так через стих становится для читателя понятной истина. В предисловии к «Опытам аллегорий» Глинка признавался, что его внимание всегда привлекал человек «со стороны его положения в обществе и особенно со стороны его природы нравственной, в которой собственно заключается великая тайна нашего счастья», что он всегда считал необходимым останавливать внимание людей на «высоких истинах веры и нравственности».

Глинку интересовала сама возможность подчинить жанры элегической и одической поэзии задачам нравоучительным. В его ранних элегиях противопоставление бедности и роскоши, простых хижин и богатых дворцов, жизни духа и греховности быта было вполне устойчивым. Глинку постоянно волновал вопрос о «светской суете» и счастье человеческом. Одна из его медитаций так и называлась: «Внутреннее наслаждение и светская суета». Ходячая мораль глинковских элегий со временем уступила место более резко выраженной критике светской морали и этики. Придав элегии своеобразный вид нравственной аллегории, Глинка постепенно очистил ее от мягких сентиментальных тонов и безмятежного эпикурейства, пытаясь переоценить существующие этические нормы и правила. Элегическая тема («Приютимся, друг бесценный, в мой укромный уголок») часто оборачивается в его стихотворениях резким выпадом против «пышных чертогов» и «низких льстецов». Так образ мотылька («Мотылек»), ослепленного блеском огня, напо-

минает поэту людей, погибающих в разврате и роскоши, и получает в стихотворении «К снегирю» антитезу в образе снегиря:

Быть свободным в бедной хате
Лучше, чем в большой палате
Жить — как в клетке золотой.

В стихотворении «К соловью в клетке» («Соревнователь», 1819, № 15, стр. 83—86) эта аллегория влечет за собой новое «поэтическое чувство». На первый взгляд стихотворение о соловье ничем не отличается от множества подобных описаний, так как в нем содержится обычное прославление «черемухи душистой», звонких «стонов, переливов» соловья и т. п. Однако этот мотив о соловье постепенно переводится в план общественных отношений, и поэт, преодолевая карамзинско-батюшковские традиции, обращается к виновникам неволи «соловья» как обличитель и гражданин. Там, где поэт славит «природу» и соловья на ветке, его аллегория мало чем отличается от обычных сентиментальных идиллий и эклог. Но там, где поэт говорит о «соловье» в клетке, спокойный тон сентиментально-повествовательной элегии резко нарушается, стихотворение становится громкозвучным, превращается в сатирическую оду. Обращение к «низким лъстецам» звучит как гневная, обвинительная речь:

Пусть тираны строят ковы
И златят цепей свинец,
И приемлют их оковы
Раб безгласный, низкий лъстец!
Поруганья, пья, как воду,
Дар небес — свою свободу —
Предают за дым они!
И, лобзая тяжки длани,
Платят век покорства дани
И влачат без жизни дни!
Пусть земные полубоги,
В недрах славы и честей
Громоздя себе чертоги,
Будут в них рабы страстей!

Исчезли романтические условности, вялость стиха и расплывчатость образа, стих стал архаико-патетическим, агитационно-декламационным. Правда, конец стихотворения («Дайте мне шалаш укромный...» и т. д.) снова звучит не-

сколько элегически, но знакомый образ соловья должен не столько умиротворить читателя, сколько передать ему ощущение свободы. Поэт встает на путь преодоления самой элегии, где все внимание было сосредоточено на внутреннем мире одного «я» со всеми оттенками настроений и помыслов. Интимная лирика, тяготеющая к гладкости стиля, к бытовой лексике дворянского салона, уступает место более монументальной и социально-значительной поэзии. Вместо элегий, с их узко-сословными оттенками словаря и синтаксиса, чуждавшихся просторечия и резкости, пришла дидактическая ода. Интересно, что при этом довольно обычная в русской поэзии XVIII и начала XIX вв. антитеза дворцов и хижин получает у Глинки гораздо более демократический характер. Хижину («шалаш») славил и Карамзин, и Батюшков, и Дельвиг, но воспринималась она ими исключительно в плане экзотики, как место отдыха для пресыщенного светскими удовольствиями эпикурейца. Глинка был настроен совсем не идиллически, часто у него проскальзывает едкая сатира, и дидактическая аллегория и иносказание у него звучат далеко не элегически, они гораздо ближе стилю классицизма с его рационализмом и метафизическим мышлением. Даже глинковская «хижина» по тому содержанию, какое Глинка вкладывал в нее, явно тяготеет к мотивам Руссо. В результате сама антитеза «дворцов» и «хижин» в поэзии Глинки имела более серьезное значение, нежели восхваление природы и поэтического анахоретства.

Насыщая свою поэзию агитационно-пропагандистской тенденцией, Глинка в выработке новой морали, новых этических и нравственных норм на первое место ставил критику европейского человека. Глинке было недостаточно отрицать существующую мораль, для него было важно дать «цель и существенность», «сокровеннейшие ощущения» и «высокие истины». «Религия», «надежда», «любовь», «совесть», «свобода», наконец, «истина» составляют основные образы-символы дидактической поэзии Глинки, стремившейся «сокровеннейшие ощущения приблизить к людям в виде более осязаемом». «Глинка, изображая какое-нибудь поэтическое чувство, — справедливо замечал П. А. Плетнев, — называет его именами другого предмета, который похож на него в некотором отношении».* Но «другие предметы»,

* П. А. П л е т н е в. Сочинения и переписка, т. 1, стр. 183

всегда влекущие за собой целую цепь столь же условных поэтических ассоциаций, в дидактической и иносказательной поэзии Глинки лишены революционного смысла.

Стремление Глинки к преодолению существующих жанровых и поэтических канонов привело к тому, что в его поэзии столкнулись, казалось, взаимно исключающие друг друга литературные традиции: традиция Ломоносова и особенно Державина в декабристской интерпретации — как поэта-гражданина, автора сатирической оды «Властителям и судиям» — и традиция Жуковского. Глинка стремится сочетать в своих произведениях дидактику классицизма с чувствительностью сентиментализма. В одах и псалмах Глинка следует за Ломоносовым и Державиным, а в аллегориях и иносказательных описаниях он идет по стопам Жуковского.

Ориентация на тех и других, на классиков и романтиков, не могла не сказаться на жанровом и стилистическом многообразии глинковской поэзии. «И какая пестрота, — замечал А. Е. Измайлов в одном из своих писем к И. И. Дмитриеву, — сколько курсива! Точно в стихотворениях Ф. Н. Глинки»*. Пестрота или мозаичность действительно являются отличительной чертой глинковской поэзии и определяют ее неравноценность по ее идейным и художественным качествам. Наряду с жанрами высокой поэзии, которые предусматривала литературная теория и практика декабристов, Глинка создает целую серию романсов, элегий, дружеских посланий, баллад и идиллий. В наследии Глинки мы находим унылую элегию в духе Жуковского, альбомные стишки мадригального типа, так характерные для русских поэтов-карамзинистов, антологические стихотворения, которые достигли предельного совершенства в творчестве Батюшкова и Пушкина. Глинка очень часто комбинирует отдельные жанры; оды, например, включают у него элементы элегического стиля (элегический псалом), и, наоборот, элегии, медитации и иносказательные описания принимают стилистическую окраску одической поэзии, становятся несколько архаическими. От высокого парения он легко переходит к сентиментальным размышлениям и чувствам.

Можно легко обнаружить прямую зависимость «непопулярной музыки» Глинки от поэзии Жуковского. Религиозная

* «Русский архив», 1871, № 2, стр. 988.

дидактика, чувство тоски, переживания меланхолической души, которыми пронизана интимная лирика Глинки, роднит элегии его и Жуковского. Об общем характере глинковских элегий свидетельствуют сами заглавия: «Прощание с жизнью», «Земная грусть», «В чем счастье», «Сельский сон», «К душе», «К Хлое», «О жизни и смерти», «Перелетная птичка», «Минуты счастья» и т. д. и т. п. Все они окрашены субъективностью поэта, во всех чувствуется грустное размышление о бремене жизни. Поэт не находит счастья на земле, ему скучно среди людей, неудобно во дворце и тесно в хижине. Расплывчатая меланхолия часто принимает в элегиях и медитациях Глинки форму полного разочарования. Эмоциональная насыщенность описаний при их малой конкретности — все это принципиальная уступка эстетике Жуковского. В аллегориях и иносказаниях более всего сказываются недостатки глинковской дидактической поэзии: утомительное резонерство, эмоциональная насыщенность при малой конкретности описаний («Он неземной, в неземном его цель бытия»), романтические шаблоны («таинственный посетитель», «залетная златокрылая птичка», «воздушная арфа», «знакомая незнакомка»), жеманно-изысканная лексика (ветер навевает звуки, звуки проникают в сердце, красавица касается арфы, у нее не пальцы, а персты, причем гибкие и т. д.), серафичность поэтики («небесные очи», «священное чувство», «кропильница неба», «житель бесплотный», «горняя радость», «лилейные персты», «небесная радость», «кадильницы святые», «священная прохлада»). Все это вызывало справедливое осуждение А. С. Пушкина. Глинковское выражение — «дружба, сие священное чувство» — становится его любимой остротой. Являясь выражением не подъема, а спада вольнолюбивых настроений, иносказательная поэзия Глинки прозвучала вполне современно в годы расцвета русского любомудрия, когда политические идеалы и образ поэта-гражданина были заменены туманной мечтой о нравственном предназначении поэта-тайновидца. «Московский вестник» в 1826 году имел основание противопоставлять глинковскую поэзию стиховой культуре карамзинистов, несмотря на их сходство во многих отношениях.

«Скажем к чести нашего поэта, — говорилось в этом журнале, — что он посвящал себя сим высоким предметам в то время, когда наше стихотворство не занимается ничем больше, кроме красивого описания безделиц. Несколько лет

уже русская муза расхаживает по комнатам и рассказывает о домашних мелочах, не поднимаясь к небу, истинному своему жилищу»*.

Популярности Глинки среди Любомудров способствовало возрождение в творчестве Шевырева и Тютчева философско-дидактической оды, ориентация Любомудров на литературные традиции XVIII века. В поэзии Глинки они ценят как раз те стилистические приемы, которые соответствовали поэтике новой архаической лирики. «Воскрешение философской оды у Шевырева — одного из главных поэтов-любомудров, — так же как и воскрешение Глинки, — замечает Ю. Н. Тынянов, — были новым этапом развития стихотворного образа, стоящего в связи с лирикой Тютчева. И Федор Глинка становится поэтической индивидуальностью; как раз те черты его стиля, которые в 20-х гг. воспринимались как «вялые» и «неопределенные», в конце 20-х гг. и в 30-х гг. становятся резко его характеризующими**». «Небрежность» и «шероховатость» языка, «энергичность» и «смелость», и «однообразие мысли», воспринимались поэтами-любомудрами как признаки нового поэтического стиля, отличного от гладкого и плавного стиля карамзинистов и Жуковского. Своеобразный антиэстетизм, пренебрежительное отношение к ювелирной отделке отдельных фраз расцениваются в 30-х гг. как положительный факт, свидетельствующий о стремлении преодолеть инерцию элегического стиха и выйти на путь мыслящей, а не орнаментальной поэзии. Из всех поэтов-любомудров наиболее близким Глинке оказался Шевырев, который «выутюженному» стиху элегиков сознательно противопоставил свои «тяжелые» и «жесткие» оды и развернутые медитации.

Накануне декабрьских событий глинковская постановка чисто этических проблем означала отступление от принци-

* «Московский вестник», 1826, № 2, стр. 330. Свое мнение о поэзии Глинки «Московский вестник» повторил в 1830 году: «Поэзия Ф. Н. Глинки была всегда торжественным отъёмом души, во питающей в себе жизнь истинно-поэтическую. Отсюда все мелкие стихотворения, коими он доселе дарил нас, были не что иное, как искры, отбрасываемые горячей фантазией в минуту поэтического раскаления. Они сверкают огнем — опаляющим и согревающим» (1830, ч. 2, стр. 58).

** Ю. Н. Тынянов. Архаисты и новаторы. Изд. «Прибой», 1929, стр. 336.

пов революционного романтизма, снижение идейного содержания декабризма. Признавая приоритет нравственного начала в человеке, декабристы Северного общества не разделяли крайностей одностороннего рационализма XVIII века и одновременно противодействовали крайностям сентиментализма, направляя внимание в сторону углубления гуманистического сознания в общественно-политическом аспекте. Вопрос шел не об отдельной личности, а об общественных потребностях, о чувствах патриотических и гражданских. Глинка же находил общий язык с Александром Бестужевым, когда разговор касался необходимости порицать произвол помещиков и рабство народа, хвалить человеколюбие и правосудие, борьбу с пороками и нравственное воздействие на общество. Но когда встал вопрос о борьбе с окружающей действительностью, то здесь неизбежно возникли противоречия и обозначились разные идейные позиции. В очень надуманных показаниях Глинки, объясняющих все связи с декабристами 1824—1825 гг. случайными встречами, имеется одно признание, которому нельзя отказать в искренности. Об Александре Бестужеве Глинка отзывался: «Александр Бестужев, человек с головой романтической... Я ходил, задумавшись, а он — рыцарским шагом и, встретясь, говорил мне: «Воевать! воевать!» Я всегда отвечал: «Полно рыцарствовать! живите смиреннее!» И впоследствии всегда почти прослышивалось, что где-нибудь была дуэль и он был секундантом или участником. Впрочем, я ссылаюсь на всех наших литераторов, что на их вечеринках и в собраниях я и на людях бывал один; сидел себе в стороне и думал о своем. Часто шутя, они же говорили мне: «Вы все живете на небесах, спуститесь на землю!» Это не моя похвальба, а их фраза. Перессорившихся литераторов старался склонить к любви и миру — и вот все, что я делал. Вообще я шел совсем другой дорогой».

Глинка шел своим путем, но этот путь брал свое начало в Союзе Спасения и в Союзе Благоденствия, когда еще не было в литературе ни Рылеева, ни Бестужева. Свои лучшие опыты декабристской прозы и поэзии, «Письма русского офицера», «Письма к другу», «Зиновий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия», «Опыты двух трагических явлений» и другие более мелкие произведения Глинка создал в годы расцвета Союза Благоденствия. В дальнейшем, после ликвидации Союза Благоденствия, Глинка проделал путь во многом обратный движению декабризма от

Союза Благоденствия к Северному обществу. Начиная с 1822 года Глинка выступает на собраниях «ученой республики» по преимуществу с чтением своих элегических псалмов и нравоучительных аллегорий; часто Глинка и Рылеев выступали вместе, первый читал свои «духовные» стихотворения, а второй свои «думы» и отрывки из «Войнаровского». И тот и другой поэт вещал «высокие истины», но каждый по-своему понимал проблему агитационной поэзии. Иносказательно-дидактическая поэзия Глинки не могла удовлетворить декабристов, перешедших от слов к делу, как не могла их удовлетворить прежняя деятельность Союза Благоденствия. А. Бестужев во «Взгляде на старую и новую словесность в России» указывал, что «в сочинениях Глинки отсвечивается ясно его душа. Стихотворения сего поэта благоухают нравственностью; что-то невещественно-прекрасное чудится сквозь полупрозрачный покров его поэзии, и, сливаясь с собственной нашей мечтой, невольно к себе привлекает. Он владеет языком чувств, как Вяземский языком мыслей... В заключение скажем, что он принадлежит к числу писателей, которых биография служила бы лучшим предисловием и комментарием для его творений»*. Справедливо указывая на прямую связь глинковской нравоучительной поэзии с биографией поэта и тем самым как бы подчеркивая, что поэзия Глинки всегда была выражением тех идеалов, за которые боролся рыцарь Союза Благоденствия, Бестужев не расшифровывает главного: «поэт благоухает нравственностью», «владеет языком чувств». Недовольный отзывом Бестужева, Пушкин недоумевал: «Глинка владеет языком чувств... Это что такое?» Пушкин иронически относился к глинковскому морализму и не считал, что автор туманных иносказаний владеет «языком чувств». Бестужев просто пощадил Глинку в журнальной рецензии, хотя для нападок у критика «Полярной звезды» имелись все основания.

Глинка и в жизни и в поэзии был и оставался дидактиком-просветителем. Выпады против ига самовластья, имена Брута и Риго, призывы к восстанию и т. п. мотивы и образы не составляют главного раздела в его творчестве. После закрытия Союза Благоденствия и неудачной попытки организовать новое общество сознание Глинки развивалось не в сторону 14 декабря.

* «Полярная звезда» на 1825 год, стр. 27.

По-разному Глинка и Рылеев встречали 1825 год. Глинка на одном из заседаний «ученой республики» читал стихотворение «Новый год» («Соревнователь», 1825, ч. 30, стр. 105), в котором сравнивал себя с усталым путником:

Как рыбарь, в море запоздалый
Среди бушующих зыбей,
Как путник, в час ночной, усталый
В беспутной широте степей:
Так я в наземной сей пустыне
Свершаю мой неверный ход.
Ах, лучше ль будет мне, чем ныне?
Что ты сулишь мне, новый год?
Но ты стоишь так молчаливо,
Как тень в кладбищной тишине,
И на вопрос нетерпеливой
Ни слова, ни улыбки мне.

Рылеев в новый 1825 год написал стихотворение «Гражданин», в котором с гордостью заявлял:

Я ль буду в роковое время
Позорить Гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, неспособен я в объятых сладострастью,
В постыдной праздности влачить свой век молодой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.

Если Рылеев в своей гражданской поэзии выразил наиболее сильные стороны декабристской идеологии, то Глинка был поэтом Союза Благоденствия, сторонником умеренного декабризма в литературе. Дидактическая поэзия была особенно близка поэту в годы идейного кризиса, когда он окончательно отказался от активных методов борьбы и встал на путь филантропии. Приверженец высокой гражданской поэзии снова возвращается к эстетике Жуковского. Глинка проделал путь во многом обратный пути Рылеева и Кюхельбекера. Ему казалось более убедительным апеллировать к «золотому веку», к прошлому России, нежели надеяться на революционное будущее. Соединив «заманчивость загадки» с «поэзией поучительности», Глинка пришел в конечном итоге к нравоучительному доктринерству, к чисто

умозрительному разрешению социальных вопросов, к отвлеченному противопоставлению «добра» и «зла».

Для нас «Опыты священной поэзии» и «Опыты аллегорий» или иносказательных описаний в стихах и в прозе» значительны в том смысле, что в них как бы содержится итог раннего творчества Глинки. Не следует забывать, что выход в свет того и другого сборника совпал с появлением двух сборников Рылеева: «Думы» и «Войнаровский». Сборники Глинки готовились к печати в Петербурге, а сборники Рылеева в Москве. Таким образом, 1825 год в декабристской литературе был ознаменован четырьмя отдельными книжками. Две из них принадлежали Глинке и две — Рылееву. Это был итог и в более широком смысле этого слова.

Сборники Глинки и Рылеева — два самостоятельных направления в декабристской литературе. Глинка до самого 14 декабря донес идейное наследство Союза Благоденствия; Рылеев создавал декабристскую революционную поэзию в духе идей Северного общества.

Перед самым восстанием Глинка читал корректуру своих сборников, вышедших из печати в самом начале 1826 года. «Опыты священной поэзии» были подписаны к печати духовным цензором, священником Казанского собора Герасимом Павским, 12 октября 1825 года, а «Опыты аллегорий» были разрешены к печати цензором Александром Бируковым в сентябре того же года.

За несколько дней до декабрьских событий Глинка дважды заходил к Рылееву. Первый раз разговор шел о литературе, причем Глинка показывал Рылееву корректуру «Опытов священной поэзии». Во второй раз, 12 или 13 декабря, Глинка пришел к Рылееву в тот самый момент, когда руководители Северного общества обсуждали план восстания. При появлении Глинки участники совещания прервали разговор, но Рылеев сказал: «Будем, господа, продолжать, при Федоре Николаевиче, кажется, можно». Александр Бестужев свидетельствует, что на его слова — «Ну, вот и приспевает время» — Глинка ответил: «Смотрите вы, не делайте никаких насилий». Для заговорщиков Глинка был человеком слишком «миролюбивых правил», а для Глинки заговорщики были слишком «буйными сообщниками». Глинка считал Рылеева и А. Бестужева представителями крайнего романтизма. В год напряженной подготовки к восстанию особенно отчетливо и обнаружилась разница

между учителями и учениками, президентом «ученой республики» и республиканцами из тайного общества. В политически умеренном поведении Глинки накануне декабрьских событий сказались традиции Союза Благоденствия, но хотя Глинка фактически не являлся членом Северного общества и не участвовал в декабрьском восстании, однако ему пришлось отвечать за свою дружбу с декабристами, за деятельность в Союзе Благоденствия и в его филиалах.

VI.

СТИХОТВОРЕНИЯ ЭПОХИ СЛЕДСТВИЯ, СУДА И ССЫЛКИ

30 декабря 1825 года Глинку потребовали в Зимний дворец, но он был отпущен «по высочайшей воле». В этот же день, т. е. 30 декабря, он получил от Ф. В. Булгарина любезное письмо с просьбой написать для «Северной пчелы» стихотворение в честь восшествия на престол Николая I. «...Сюжет: новый год и новый царь и его качества, — писал Булгарин. — Ради бога, сделайте это. Такой царь стоит вдохновения поэта добродетельного».* Возможно, что Булгарин действовал и как издатель «Северной пчелы» и как агент тайной полиции, которому было поручено разузнать настроение Глинки. Заказ был выполнен. В новогоднем номере газеты появилось стихотворение «Чувства русского при наступлении 1826 года».

Мы не думаем, что это стихотворение было искренним, но иначе писать было нельзя. Глинка намекнул на «глас смиренных» и на необходимость «щедрот благословенных». Через десять дней после появления оды «Чувства русского при наступлении 1826 года» в той же «Северной пчеле» (№ 19) появились «Правила» Глинки:

Собой других не заслонять,
В делах других не поперечить,
В словах своих не пусторечить
И никого не осуждать...
О слабостях людей молчи!
О добродетелях — кричи.

* «Литературный вестник», 1902, кн. 8, стр. 344.

Прежние обязанности члена Союза Благоденствия, в которых говорилось о необходимости «порицать» (Аракчеева, военные поселения, рабство и палки и т. д.) были заменены новыми правилами: «не поперечить», «не пусторечить», «не осуждать». Этих правил Глинка строго придерживался в своих показаниях Следственному комитету, он никого не осуждал, был скуп на слова и с достоинством защищал себя, когда Григорий Перетц начинал «пусторечить». Глинка использовал страницы «Северной пчелы» и для того, чтобы предупредить своих сообщников, оставшихся на воле, как следует вести себя во время следствия, в случае ареста. 11 марта 1826 года Глинка был снова взят под арест в конфектной лавке, где он пил чай, и посажен в особый арестантский покой.

В бумагах В. В. Григорьева нам удалось обнаружить тетрадь, состоящую в основном из тюремных стихотворений Глинки (см. приложение). Четыре листа оберточной бумаги зеленоватого цвета, вдоль и поперек исписанные мелким убористым почерком поэта, вместили 42 стихотворения. Из них 26 значатся в списке, озаглавленном «Число и наименование пьес, сложенных с 9 марта». Сверху первого листа поставлена дата: «31 мая 1826 г.» Нужно думать, что 31 мая Глинка составил список стихотворений, сочиненных им «с 9 марта». В это время, т. е. в марте — мае, он сидел в Петропавловской крепости. Таким образом, упомянутые четыре листа и есть тот поэтический дневник, который вел Глинка за глухой стеной Петропавловской крепости. Некоторые стихотворения из тюремной тетради («Восстановителю», «Голубице», «К богу», «Всемогущество», «Псалом» 62-й, «Возрасты», «Наука»), без подписи автора или под инициалами Ф. Г., в 1827 году попали на страницы «Северной пчелы» (№№ 50, 54, 70, 87 и 90); другие значительно позже появились на страницах альманахов («Вера», «Надежда», «Любовь» в «Альбоме Северных муз» на 1828 год; «На гром» — «Денница» на 1831 год); «духовные» стихотворения почти через 45 лет попали в погодинское издание «Духовных стихотворений» (1869 г.) и затерялись среди других элегических псалмов, помещенных в разделе разных лет; наконец, значительная часть тюремных стихотворений так и не увидела света. В «Северной пчеле» (1827, № 87) было напечатано стихотворение «Голубице». Стихотворение «Голубице» и по

содержанию и по форме напоминает тюремное стихотворение Рылеева «Мне тошно здесь, как на чужбине».

В том и в другом стихотворении содержится намек на расправу над декабристами, на томительное одиночное заключение. Рылеев обличает земную тиранию:

Весь мир, как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон.

Глинка говорит о тоске по небесным высотам:

Зачем мне так тесна темница
И недоступны высоты?

«Духовные» стихотворения Рылеева и Глинки создавались независимо друг от друга, а между тем они имеют несомненно много общего и в то же время диаметрально противоположны в разрешении основной трагической коллизии. Совпадение основного мотива о «голубице» объясняется своеобразием обстановки, в которой складывались песни узников, общностью их настроения и, наконец, тяготением к религиозно-библейской символике. Различие в оценке собственного положения восходит к различным идейным позициям обоих поэтов в первую очередь в отношении 14 декабря.

В тюремной тетради Глинки находится новый вариант «Правил». Видимо, Глинку чрезвычайно занимал вопрос о собственном поведении, если он снова вернулся к обсуждению «Правил», опубликованных только в самом начале 1826 года в «Северной пчеле».

ПРАВИЛА

Не видеть слабостей чужих;
Быть в чувстве гордости убогим;
Быть очень кротким для других,
А для себя быть очень строгим.

Глинка в своих показаниях для себя был действительно «очень строгим», он не сказал ни одного лишнего слова и о ближайших друзьях, в частности о Рылееве, чтобы никоим образом не ухудшить их судьбу. Правил этих Глинка придерживался до тех пор, пока его не разоблачил Григорий Перетц. Достаточно было Перетцу показать, что Глинка руководил тайным обществом «Хейрут», как «чувство гордости» и обиды нарушило все правила, и вместо «кротости» Глинка показал свой достаточно твердый характер.

а главное, склонность к запирательству. Глинка встретил показания Перетца с явным раздражением и озлоблением: он категорически отрицал свою вину, просил произвести повальный обыск, говорил, что «за слово не судят», третирует Перетца как сочинителя «злоумышленной клеветы», считал себя жертвой извета и проч. В тюремную тетрадь входит «Псалом 62-й», известный по погодинскому изданию «Духовных стихотворений». Полагаем, что в этом псалмодическом стихотворении Глинка продолжает полемику с клеветником:

Когда злодей в меня стрелами,
И пращем, и копьем метал,
Ты сам защитными крылами
Меня средь ночи одевал!..
...Пускай искать злодеи рвутся
Меня с огнем во тьме ночей:
Запнутся сами... и пробьются
На острие своих мечей!..

Во многих стихотворениях из этой тетради намечены основные мотивы поэзии декабристской скорби, кратко-временно озаряемой светом надежды на помилование «небесного царя». В основе большинства стихотворений лежит противопоставление воли и неволи, свободы и участи узника. Узник приглашает к себе в собеседники ветер, солнце, мотылька и, наконец, самого бога. Незримая из окна темницы, но осязаемая природа предстает воображению поэта в своей величавой торжественности: на деревьях набухают почки, поют птицы, цветут луга.

Уже душистей стали ели,
И пахнет в воздухе смолой,
Уже луга зазеленели,
И мох кудрится над скалой.
Разделись синие заливы,
И лодки ходят по реке;
Уже заколосились нивы,
И слышно стадо вдалеке...

(«Весна»)

И все же это не реальный пейзаж, а только воспоминание о нем. Главное в изображении личного драматизма, в излиянии грустных чувств узника. Стихотворение «Буря» не оставляет никаких сомнений, что Глинка, сидя в аре-

стантском покое Петропавловской крепости, через «щель стенную» слышал «приближение бури» по завыванию ветра.

И только рано по зарям,
Прокравшись близ тюрьмы сторонкой,
Несчастливым узникам тихонько
О чем-то милом напевать —
И горьких в сладкое забвенье погружать!..

Свободный ветер, который рвется в «тесноту», и «несчастливые узники» — такова внутренняя антитеза стихотворения «Буря». И это не единственный случай, когда пейзажная лирика сливается с тюремной лирикой. В стихотворении «На гром» неожиданно врывается строка: «И часовой, утупя в землю штык...» Небольшое стихотворение «Луна» в «Рукописном собрании стихотворений» Глинки, хранящемся в Калининском архиве, значится под названием «Луна и узник». Стихотворение «Луна» не столько о луне, сколько об узнике: «А бедный узник за решеткой мечтал о божьих чудесах...» — «И, с мыслью о святой отчизне, сидел, терпел — и уповал!» Именно там, в каземате Петропавловской крепости, сложился первый вариант знаменитой тюремной песни «Узник», ставшей со временем исключительно популярной. Образ «несчастливого узника» содержится в вышеприведенных стихотворениях. Если из стихотворения «Луна» в романс почти дословно перейдет строка «А бедный узник за решеткой» («А бедный юноша в неволе»), то в стихотворении «К луне» намечены основные мотивы и образы будущего «Узника»: безмолвие ночное, луна, кивер часового, узник. Строка «И на штыке у часового» встречается в стихотворении «Повсеместный свет»:

На трубке в желтом янтаре
И на штыке у часового
Повсюду свет луны сияет.

В «Узнике» Глинка перефразирует эти строки и соберет вместе все световые и красочные обозначения, сольет их в новый художественный образ:

На невских башнях тишина,
И на штыке у часового
Горит двурогая луна.

В Петропавловской крепости Глинка продолжал свои опыты «священной поэзии». Религиозно-философская ли-

рика, в основе которой лежит идея о боге как мыслящей и всевидящей субстанции, снова наполнилась аллюзией на конкретную обстановку и обстоятельства, на личную судьбу поэта. В ней варьируется мотив грехопадения: «Омой с меня мой прах греховный». Но, как и всегда, за иррациональной оболочкой «духовной» поэзии скрывается наивно-материалистическая тенденция автора. Даже самые космические стихотворения не обходятся без веры в земное «всемогущество», без стремления превратить бога в участника современных событий. Элегический псалом продолжает отражать думы и мысли поэта и прежде всего сложные переживания узника в обстановке следствия и суда.

Поэт рассказывает о своей судьбе, просит извлечь из «бурной реки» и освежить «томную главу страдальца», полемизирует с судьями и «клеветниками», приглашает библейского бога стать его защитником и покровителем. Опытный псалмопевец, искушенный в библейской символике, переносит эту символику в Петропавловскую крепость. В списке стихотворений, сложенных с 9 марта, поименованы отсутствующие в тетради: «Желание простоты», «Нетленные глаза», «Вера», «Любовь», «На склоне дня, опершись на карниз», «Я вижу на небе обнова», «Я искушен премудростью твоей». С другой стороны, в тетрадь входят отсутствующие в списке стихотворения: в нашем сборнике см. №№ 101—116. Полагаем, что эти 16 стихотворений (№№ 101—116), которые не вошли в число пьес, сложенных с 9 марта, но находятся среди них, написаны если не в Петропавловской крепости, то сразу же после освобождения Глинки из заключения. Так в стихотворении «Узник мотылька», появившемся в 1828 году в «Русском зрителе» (№ 5—6, стр. 52), повторяется основной мотив тюремной лирики: появление беззаботного мотылька служит поводом к рефлексии узника. Стихотворения «Обеты», «Упование» напечатаны среди других тюремных стихотворений в «Северной пчеле» (1827, № 89) за подписью Ф. Г. и перепечатаны в «Духовных стихотворениях» (1869) без означения года. «Порыв воина» появился в «Славянине» в 1827 году (ч. 3, стр. 269).

Просматривая «Духовные стихотворения» (1869 г.), легко убедиться, что в раздел «без означения годов» вошли некоторые элегические псалмы из тюремной тетради. Понятно, что исследователь не может пройти мимо тех псалмов, которые приютились рядом с тюремными стихотворе-

ниями, и не сделать рабочей гипотезы, что и эти псалмодические стихотворения относятся к эпохе следствия, суда и ссылки.

Печатая «Духовные стихотворения», Глинка вслед за «Опытами священной поэзии» (1826) поместил стихотворения, написанные до 1826 года, но не вошедшие в «Опыты». В следующем разделе «Духовных стихотворений» он разместил стихотворения, написанные после 1825 года, причем этот раздел снабдил довольно туманной справкой: «Стихотворения, написанные в разные времена, без означения годов». В раздел «без означения годов» Глинка запрятал «духовные» стихотворения («Я пред тобою», «Из псалма 143-го», «Илия — богу», «Бог — Илии», «Я видел их», «Покорность», «Ты наградил» и многие другие), содержащие скрытый намек на декабрьские события и годы гонений. Ключ к разгадке хронологии этих стихотворений содержится в самом оглавлении к сборнику. Стихотворения, написанные после 1830 года, т. е. после возвращения из ссылки, как правило, обозначены датой их написания. Стихотворения, написанные в период сотрудничества Глинки в «Москвитяине» (1841—1848), выделены в особый раздел. «Опыты священной поэзии» и все остальные стихотворения, написанные до 1826 года, образуют первую часть книги. Остается предполагать, что большинство стихотворений, скрывшихся под неясным заголовком «без означения годов», написаны в годы ссылки (1826—1831).* Нужно сказать, что датировка отдельных стихотворений, которая частично содержится в «Духовных стихотворениях», не всегда отвечает действительности. Так, например, элегический псалом «Глас» был напечатан в «Литературном музее» на 1827 год (стр. 47—48). В том же году об этом псалме «Московский вестник» писал: «Из всех стихотворений первое место по мысли и по выражениям занимает «Глас» Ф. Н. Глинки».** Стихотворение «Глас» было написано Глинкой в связи с годовщиной пребывания декабристов на каторге и в ссылке и выражало надежду олонецкого ссыльного на обновленную жизнь, на новую встречу с друзьями («И люди встретятся, как братья...», «Друг

* На декабристские стихотворения Глинки, напечатанные в «Духовных стихотворениях», в разделе «без означения годов», указывает Ю. Г. Оксман. См. «Временник Пушкинской комиссии», т. 2.

** «Московский вестник», 1827, № 11, стр. 280.

другу кинутся в объятия»). В «Духовных стихотворениях» элегический псалом «Глас» датирован 1829 годом. В нашем распоряжении имелось «Рукописное собрание стихотворений» Глинки, хранящееся в Калининском архиве. Стихотворение «Глас», переписанное рукой жены поэта А. П. Глинки и скрепленное собственноручною подписью Ф. Н., в «Рукописном собрании» значится с пометкой: «В Петрозаводске, 1829 г.» Стихотворение «Глас» действительно написано в Петрозаводске, но, как об этом и свидетельствует публикация в «Литературном музее», написано оно не позже начала 1827 года. Готовя к изданию «Собрание сочинений», Авдотья Павловна переписывала стихотворения, так как автографы ранних стихотворений в большинстве случаев были утрачены. В результате такой переписки порой возникали курьезные ошибки и явная путаница. «Глас» был обозначен 1829 годом, и под этой датой он появился в «Духовных стихотворениях».

В отличие от многих других стихотворений, стихотворение «Молитва» в погодинском издании датируется 1826 годом. Мы полагаем, что это стихотворение было написано в самом начале 1826 года, сразу же после первого вызова Глинки в Зимний дворец (30 декабря 1825 года), окончившегося тем, что его отпустили по «высочайшей воле» обратно домой. Глинковский «челн» мало пострадал на «пенном лоне вод»: «И я и челн мой цел». Такова заключительная строка «Молитвы». Тот же мотив о благополучном «челне» содержится в стихотворении «Поклоны». И здесь образ челна осмыслен в плане личной судьбы: «А я цел в своем углу». Самоанализ составляет основное содержание этих стихотворений, и сюжет о пловце и «бурном водовороте» приобретает субъективно-психологическую окраску. «Молитва» и «Поклоны» были написаны в начале следственного дела о Глинке.

Вот истый образ!.. В сей напасти
Свое бывое узнаю:
Так, незагашенные страсти,
Я помню, — мою ладью
Зажгли, и весь огнем объятый
Под грозной бурей я летел:
Но ты, хвала тебе трикраты,
Ты сам... и я, и челн мой цел!

(«Молитва»)

Но «напасти» только начинались. В Петропавловской крепости Глинка продолжал тему о пловце. В тюремной тетради находим стихотворение «Два счастья». Мотив «Я цел в своем углу» исчезает, вместо него появляется новый: «Еще в пути моя ладья, еще кругом туман и волны».

ДВА СЧАСТЬЯ

Земное счастье мне давалось,
Но я его не принимал:
К иному чувство порывалось,
Иного счастья я искал!
Нашел ли? — тут уста безмолвны,
Еще в пути моя ладья,
Еще кругом туман и волны
И будет что? — Не знаю я!

Субъективно-психологическая окраска темы о пловцах несомненна. Челн не только поэтический образ, но значение этого образа двупланно: в нем заключены своеобразные слова-сигналы, по которым мы узнаем кормчих. Стихотворения Глинки соприкасаются с «Арионом» Пушкина. Там и здесь мы имеем дело с иносказанием: гибель декабристов и спасение «таинственного певца». Особенно близка Глинке первая часть пушкинской формулы — «на берег выброшен грозою». Что касается второго пушкинского мотива — «я гимны прежние пою», то он вовсе не распространяется на стихотворения Глинки. На первом месте в его стихотворениях сознание своего бессилия: «Есть воля, но при ней нет силы», «отброшен прочь от цели», «готов разбиться о камень». Для Глинки тема о пловцах не является только автобиографической темой. Тема эта вырастает из его ранней публицистики, из речей президента «ученой республики». 19 июля 1822 года, когда над тайным обществом сгустились тучи реакции и в руки Александра I поступил донос о людях, которые «проповедывают пагубный образ мыслей», Глинка обратился к членам Вольного общества любителей российской словесности с речью, в которой предупреждал, что «сегодня пловцы наслаждаются безопасностью в пристани надежной, а завтра свирепая буря мещет рассеянные челны их по зыбям моря кипящего».*

Когда пристань и челны были действительно разбиты, Глинка продолжал рассказ о «пловцах» в стихотворениях

* «Соревнователь», 1822, № 8, стр. 226.

о «бурном водовороте». В «Молитве» и в «Поклонах» на первом плане личное благополучие: «Я цел». В стихотворении «Два счастья»: «И будет что? Не знаю я!» Этот мотив о челне находит завершение в стихотворении «Призвание», появившемся в «Одесском альманахе» на 1840 год (стр. 509—511). В «Рукописном собрании стихотворений» «Призвание» следует сразу же после стихотворений, написанных в Петропавловской крепости (Калининский архив, № 402). В «Призвании» на первом плане тема гибели декабристов, мотив пушкинского «Ариона» — «погиб и кормщик и пловец». В этом последнем стихотворении Глинки собраны основные образы поэзии эпохи следствия, суда и ссылки: растерянность и смятение пловцов во время бурного водоворота, не «солнце над скалой», а могилы и кости «от бывших поколений». Песнь погибающего пловца объединяет три главные темы:

1. Поражение пловцов: «Мы растеряли паруса, и руль, и снасти растеряли».

2. Апелляция к богу-защитнику: «И положи конец страданью», «Оставь свой суд, будь ласков к нам», «Над нашей сжалившись судьбой», «И на несчастных нас взгляни, пловцов в водоворотах бурных».

3. Признание трагической обреченности: «Земля рябует от могил» и т. д.

«Духовные» стихотворения Глинки о пловцах не имеют никакого отношения к элегической поэзии карамзинистов. Образ челна у карамзинистов равнозначен поэтической хижине и шалашу. Элегический челн есть реальная ладья, на которой «беспечный поэт», пресыщенный впечатлениями светской жизни, совершает прогулку по морю. «Любовь в челне» — так называется одно из стихотворений Батюшкова. И в этом названии весь смысл карамзинско-батюшковского челна. Декабристский челн — политическая метафора. Метафорическое понимание челна и бурного моря вызывало вполне злободневные ассоциации. Отсюда возникали дополнительные уподобления: гибель пловца. В стихотворении Одоевского «Отцу» (1836) также упоминаются разбитый челн и пловец, выброшенный в глухую степь и обреченный на смерть.

Появившееся без подписи в 1826 году на страницах «Северной пчелы» (№ 53) стихотворение «Сравнение» открывает лирический дневник ссыльного Глинки, «печальную повесть бедного человека», переживающего «горечь

униженной судьбы». В «Сравнении» снова появляется образ челна, носимого «бурей жизни», и образ пловца, теперь уже заброшенного на «дикие скалы» лесной Карелии, оторванного от всего живого.

Но буря жизни, ухватя
Мой челн, в безбрежное умчала:
Я слышал, подо мной урчала
И в клуб свивалася волна;
И ветры парус мой трепали...
Ах! часто чувства замирали
И стыла кровь...

Можно сказать, что ни у кого из поэтов-декабристов тема о разбитом челне и погибающем пловце не прозвучала с такой силой, как у «олонецкого переселенца». Мы считаем доказанным, что стихотворения Глинки о пловцах и челне — «Молитва», датированная в «других стихотворениях» 1826 годом, «Два счастья», написанное в Петропавловской крепости, «Признание», впервые появившееся в «Одесском альманахе» на 1840 год, и «Сравнение», напечатанное без подписи автора в 1826 году в «Северной пчеле», — образуют один тематический цикл и хронологически прикрепляются к 1826 году.

Некоторые элегические псалмы, запрятанные Глинкой в «Духовные стихотворения», настолько значительны по своему содержанию, что о них следует говорить как о ярком художественном документе эпохи суда и ссылки. Отметим, что в 20-е гг. был еще один поэт, постоянно перелагавший псалмы и приспособивавший библейские сюжеты к различным обстоятельствам современной жизни — профессиональный псалмопевец Н. Шатров. В 1822 году, когда появился указ Александра I о закрытии тайных обществ и масонских лож, Шатров откликнулся переложением XXV псалма, в котором заверял императора:

Избавь меня от тех людей,
Которые тебя не знают,
Святой завет твой преступают,
Кто враг тебе, тот мой злодей!

После декабрьских событий Шатров написал «подражание» XIII псалму. Первая часть «подражания» представляет собой перелицованную гражданскую оду, причем Шатров сохраняет такие специфические выражения, как

«народ» и «временщик», «цепи» и «свобода». Напоминание о «тиране» Шатрову потребовалось, чтобы в заключение сказать о «бунтовщиках», готовых «все власти ниспровергнуть». «Тираны» и «временщики» лучше «бунтовщиков» и «безбожников» — такова основная идея шатровского псалма.

Тяжел и грозен для народа,
Как мор и голод, злой тиран,
Когда в цепях души свобода
И царству век железный дан.
...И страшен грозный временщик:
Но божий враг сто раз страшнее,
Он всех возможных зол вреднее,
Безбожник каждый — бунтовщик!

В стихотворении Шатрова мы видим нечто большее, нежели ответ на оду Рылеева «К временщику»; все дальнейшее содержание шатровского псалма свидетельствует, что под «бунтовщиками» он разумел декабристов.

...Ужасным гласом заревели:
Пора нам вольность возвратить!
К оружию, друзья, народы!
Настали времена свободы,
Зажглась златых веков заря;
Ударим — и собравшись в кучи,
Как гром из грозной, бурной тучи,
Ударили против царя.

Нет необходимости цитировать от начала и до конца растянутый псалом Шатрова. Эпиграфом к нему можно с успехом взять две строки:

Остался неприступен трон,
Сам бог в час бунта стал на страже.

Расправу над декабристами Шатров выдает за божье повеление: библейский бог становится силой, карающей декабристов. Шатровский бог так «повелел»:

Не охраняйте беззаконных,
К любви и миру непреклонных,
Я их на казнь определил! *

Одним из самых смелых стихотворений Глинки, написанных в годы гонений, является «Псалом 43-й». «Псалом

* Н. Ш а т р о в. Стихотворения, СПб., 1831, ч. 1, стр. 18—19.

43-й» — парафрастическая ода на мотив этого псалма. Переложением 43-го псалма Глинка откликнулся на судьбу своих друзей и в иносказательной форме изобразил суровую расправу над декабристами.* Библейский пророк, он же поэт-псалмопевец Глинка в свое время сокрушал «нечестивцев» и призывал к социальной справедливости: библейские образы тогда, в годы свободолюбивых помыслов, соединялись с абстрактным вольнолюбием, и типично декабристская фразеология уживалась с архаикой словаря «священной поэзии». В годы суда и ссылки «духовная» поэзия приняла совершенно другой характер. В ночь после битвы поэт просит библейского бога вмешаться в судьбу тех, кого «облекли беды и сети». Призыв «восстать» на защиту «плачущих людей» выражен настолько сильно, что весь псалом принимает форму агитационного монолога. Нужно ли говорить, что это «духовное» стихотворение, появившееся в год расправы над декабристами, было довольно смелым и даже дерзким вызовом тому, кто осудил декабристов на казнь («обреченных на убой» бросал на каторгу и в ссылку). Не только «Псалом 43-й», но и многие другие стихотворения, появившиеся в «Духовных стихотворениях» в разделе «без означения годов», изображают суровую расправу над декабристами. Показательным является сама фразеология псалмов этого цикла:

«Вчера ругались, ныне тоже над нашей бедной головой», «Ведут нас, как в ярме волов», «Враг дождит на нас укоры», «Бьет нас прутом, как детей» (Псалом 43-й);

«Твой наступ строже, строже, строже, а мы, как мертвые, стоим», «Окаменелости людей», «Души ноют», «Видим казнь», «Под камнями могил» («Несмысленность»);

«Мне путь широкий залегли», «Меня, как птицу, стерегли», «Куют при кликах кандалы», «Мою погибель, мой убой» («Ловители»);

«Твоих зарезали пророков», «Твои разбили алтари», «Жилец пустыни» («Илия — богу»);

«Стеснилась грудь, ослабли руки», «В тоске все кости немеют», «Глухая ночь... везде засады», «Мои презренные враги», «Идет толпа моих врагов», «Я вашу злобу позабыл» («Воззвание души»);

* См. более подробно В. Базанов. О поэзии Ф. Глинки. «Литературный критик», 1938, № 8.

«Я один впотьмах стою», «Как изгнанник, как преселенец», «Я вопию, как отнятой от груди матери младенец» («Тоска о нем»);

«Суди меня — и не рази», «Я стал не знаю чей невольник» («Я пред тобою»);

«Я где-то, верно, согрешил», «В стране изгнания и ссылки», «Угас веселый я и пылкий», «Меня в изгнание снаряжая», «Мое невольничье убранство», «Скорблю, терзаюсь и томлюсь», «Одежды ссыльного жалею» («Память доколыбельного»);

«Уж годы скорби пронеслись», «Година счастья наступает», «Уже грехов истерпишь цепи», «Расклепались кандалы», «Повеет сладкое прощенье», «Друг другу кинутся в объятья» («Глас»).

Сама действительность разрушила религиозно-философскую концепцию Глинки о боге и его всемогуществе. «И ты извелк меня и мне сказал: живи!» — писал поэт в первые дни своего пребывания в Петропавловской крепости, надеясь получить свободу. Однако судьба Глинки зависела не от «небесного», а от земного царя. Апелляция к богу не привела к реальным результатам. Глинка был сослан в глухую Олонецкую губернию; судьба других декабристов была еще более тяжелой.

В годы олонечкой ссылки происходят новые изменения в «духовной» поэзии Глинки. Из библии и псалмов ссыльный поэт выбирает сюжеты о поражении пророков, об изменчивой судьбе обетованной земли, о тяжести плена в Гесиюнгерской пустыне, о мечте возвратиться в родные места.

Элегические псалмы ссыльного поэта — не прежние «голосистые» псалмы с их высоким и пышным метафорическим стилем. «Духовная» поэзия приобретает своеобразный характер медитативной поэзии, порой она звучит как исповедь ссыльного «переселенца», как искренний вопль поэта, тоскующего в стране угрюмой и суровой. Голос ссыльного поэта все реже и реже возвышается до высокого песнопения ветхозаветных пророков, а вместо обычного обращения к библейскому богу с призывом «восстать» и «покарать» мы видим в элегических псалмах этих лет влияние личной грусти, жалобу на свою судьбу, изображение олонечкой ссылки. Библейские образы в некоторых псалмах вовсе вытеснены элементами субъективной лирики поэта.

А здесь, куда заброшен я, —
В стране изгнания и ссылки —
Угас веселый я и пылкий:
Здесь все чужая мне семья,
И сторона здесь мне чужая..
Скорблю, терзаюсь и томлюсь,
И что страшней! (я сам дивлюсь)
Одежды ссыльного жалею
И с ней расстаться уж боюсь.

(«Память доколыбельного»)

Где я! — себя не узнаю!
Кругом, сдаётся мне, все то же;
Но я один впотьмах стою
И без тебя тоскую, боже!
Узри, прими тоску мою!..
Как изгнанник, как преселенец,
В стране безводной и пустой,
Я вопию, как отнятой
От груди матери младенец.

(«Тоска о нем»)

Даже «Гимн богу» (Из псалма 141-го) звучит как жалоба на свою судьбу. «Гимн богу» — вовсе не гимн, а плач поэта, его грустная исповедь:

Отца и матери я, боже, не имею,
Отца и мать собой ты заменяешь мне;
Я одинок и чужд в чужой мне стороне:
Ни мыслить, ни мечтать, ни чувствовать не смею!..
Душа как будто замерла;
Она измучена и страхом и бедами;
И жизнь моя — стезя, которая легла
На крутизнах, между стремнин и льдами..
И вас, бывших друзей, уже не стало — слезы!..
На темных жизненных тропях,
В стопы вонзаются занозы,
И бегают за путниками страх.

Элегические псалмы олонецкого ссыльного лишней раз свидетельствуют, что для Глинки «духовная» поэзия всегда служила надежным средством для иносказаний, что за «горными селениями» очень часто скрывалась «страна изгнания и ссылки», а за библейскими сюжетами стояли вполне современные и даже злободневные темы.

Из всей библейской поэзии наиболее близкой Глинке в годы олонейской ссылки оказалась тема о многострадальном Иове. Свое отношение к Иову Глинка определил еще в «Письмах русского офицера», утверждая за ним славу певца человеческой скорби. «Когда неприязненный рок уловит тебя в сети лютейших бедствий; когда напасти обидут тебя; когда сердце твое сделается обителью горести и очи источником слез; тогда, — признавался Глинка, — о несчастный странник дольного мира! Тогда раскрой в библии книгу Иова, сравни его страдания со своими и укроти ропотный стон бунтующего сердца твоего. Ибо ты увидишь ясно, что все твои потери перед скорбью Иова суть то же, что плач ребенка, лишенного детских игрушек, в сравнении с воплями старца, потерявшего супругу, дочерей и многих сынов на брани».* Автор «Писем русского офицера», рассказывая об остановке в с. Медники, приводит содержание разговора с квартирными хозяевами: «Читаете ль вы Иова, спросил я у хозяев? Читает, отвечали они, когда нам бывает грустно. Так всякий несчастный должен непременно читать Иова», — заключает Глинка.** Еще в 1808 году в «Русском вестнике» Глинка поместил стихотворение «Иов» (31 строфа) с эпиграфом из восьмой главы «Книги Иова»; в сокращенной редакции это же стихотворение (29 строф) было напечатано в «Журнале императорского человеколюбивого общества» (1818, кн. VIII). После декабрьских событий, в годы олонейской ссылки, Глинка вернулся к теме об Иове, как бы памятуя о словах, произнесенных им десять лет тому назад: «Так всякий несчастный должен непременно читать Иова!»

«Свободное подражание священной книге Иова» Глинка начал в первый год своего пребывания в Карелии. Об этом свидетельствует письмо поэта к А. А. Ивановскому, датированное августом 1826 года. «Пылкость и жизнь мыслей, утомленная, замороженная холодным чтением безобразной приказной прозы, — писал Глинка из Петрозаводска, — начинает оживать в сии часы глубокого вечернего уединения. Тут внешний мир мало-помалу отклоняется, и промежуток между им и душою занимается какой-то высшею стихией. В таком расположении работаю я что-нибудь в прозе,

* Письма русского офицера, ч. 2, стр. 16.

** Там же, ч. 6, стр. 95.

иногда пишу и в стихах, например: «Иова».* Отрывки из «свободного подражания» появились в 1827 году в «Сыне отечества» (№ 7, стр. 279—291) с примечанием автора: «1827 г., марта 21, г. Петрозаводск». В заключение говорилось, что «продолжение имеет быть». Несколько фрагментов «Иова» в 1831 году проникли в «Телескоп» (№ 5). Начатая «под шумом северных лесов» поэма об Иове была закончена в 1834 году под голубым небом Малороссии (в селе Ярославец, Черниговской губ.). В печати она появилась спустя четверть века, в 1859 году, после длительного поединка с цензурой.** «Господин цензор, — писал Глинка в «Письме к цензору, положившему запрещение на рукопись мою», — свободное преложение в стихах книги Иова, — отнял у меня, засеквестровал и сдал в каменный архив на истление, не возвратив мне моего экземпляра». Рукопись Глинки вызвала цензурные преследования в частности потому, что в «свободном подражании священной книге» поэт обнаружил стремление запросто разговаривать с богом, иногда поучать и даже упрекать бога за его равнодушное отношение к страждущему человечеству. Глинковское «панибратство» вело к снижению библейских сюжетов, к упрощению образов священной поэзии. Это не понравилось цензору. «Иов в тяжелых муках страдания, — замечал цензор А. В. Никитенко, — часто обращается к богу, которые выражены иногда весьма сильно. Например:

Казнитель злых казнит и добрых:
Незримый хлещет бич его
В чело надменного злодея,
Но часто и смиренным он
Кровавые наносит раны...
Когда же жизнь для всех... То пусть
Казнил бы вдруг. Почто же мучить,
И сокрушать за костью кость,
Вытягивать за жилой жилу
И над болезнью страшных ран
Смеяться! Горе! Нечестивым

* «Русская старина», 1889, июль, стр. 124.

** Материалы Петербургского цензурного комитета о поэме «Иов» и замечательное письмо Глинки к цензору, извлеченные из архивных хранилищ, нами опубликованы в книге «Карельские поэмы Федора Глинки» (Петрозаводск, 1945, стр. 108—124).

Земля на муку отдана...*
О боже! Я тобой гоним!
Как страшный лев с своей добычей:
Отпустит, даст на миг вздохнуть
И вмиг, одним прыжком, хватает
И держит бедную в когтях...
Так ты со мной: ослабишь муку
И муками пронзаешь вновь...
Кто знает: что там за могилой
И оживет ли человек?..

Но где же бог? Вотще взываю,
Вотще кругом его ищу:
Гляжу направо — исчезает,
Налево — нет! Вверху, внизу...
Ни пред собой, ни за собою
Его не вижу... Бога нет!

Таких мест довольно много встречается в переложении «Иова». Хотя подобные мысли и находятся в славянском переводе, но, будучи облечены в другую одежду выражений, они не поражают столько читателей». Подобные мысли в устах ссыльного поэта, пострадавшего от суда Николая I, особенно могли поразить царскую цензуру.

Сам факт увлечения «Книгой Иова» не является случайным. Поэты-декабристы в годы каторги и ссылки проявили специфический интерес к библейской поэзии и к «Книге Иова» в особенности. Кюхельбекер в письме из Петропавловской крепости от 3 февраля 1826 года на имя ген. Левашева признавался, что «священное писание было бы для меня здесь в моем положении лучшею отрадою» и просил доставить в арестантскую камеру «славянскую библиотеку». В библейских книгах Кюхельбекер находил мотивы, созвучные его личным переживаниям. Особенно его привлекали те сюжеты, в которых раскрывалась трагическая судьба ветхозаветных пророков. Если в «песнях отшельника» тема о поэте-пророке разрешалась в автобиографическом плане, то в эпических и драматических произведениях Кюхельбекер тему о судьбе перенес в план библейских и исторических сказаний. Но и здесь объективное повествование очень часто переключается в субъективный план, и сквозь библейские и

* В тексте поэмы следуют две строки, пропущенные цензором:
И безрассудные преступно
Играют жребием ея!..

исторические сюжеты просвечивает суровая действительность декабристской каторги. В трагедии «Прокопий Ляпунов» (1834) судьба погибшего вождя первого рязанского народного ополчения несомненно перекликается с судьбой декабристов после неудавшегося декабрьского восстания. В поэме «Давид», законченной в 1829 году в Динабургской крепости, поэт широко использует лирические отступления, которые образуют второй план повествования. Так плач Давида над Ионафаном представляет собой не что иное, как реквием Грибоедову, написанный после получения известия о смерти друга. В субъективные тона окрашен и образ пророка Давида. Если в 20-х годах ветхозаветный песнопевец для Кюхельбекера был прежде всего защитником высоких истин, то теперь он воспринимается им как узник:

Вновь я один: тяжелые затворы
Меня от жизни отделяют вновь.
Подъемлю к небу страждущие взоры,
Со мной простились дружба и любовь:
Не мне было, родимые, жить с вами!

Это и многие другие лирические отступления имеют несомненно автобиографический характер. Еще в более субъективные тона окрашена поэма Глинки об Иове. В годы ссылки «Книга Иова» явилась для поэта целым откровением: «Какое величие! Какое неистощимое богатство образов! Как горька в ней горесть, как безотрадны уныние, как ужасно проклятие! Человек никогда не говорит таким могучим голосом, как в минуты тоскливого отчаяния». В предисловии к «Свободному подражанию книге Иова» Глинка сам указывает на сходство переживаний Иова с его собственным настроением:

«В холодных объятьях действительности угасли пылкие мечтания юности, затихли тревожные волнения ума, и пробудилась кроткая жизнь сердца уединенного, как страна, его окружавшая. Тогда на берегах величественных озер — этих огромных зеркал, в которых отражалось небо Севера, в местах, загроможденных обломками какого-то древнего мира, — раскрыл я опять книгу Иова: — и как изумился, не найдя в ней прежней неясности... Душа невольно сроднилась со страдальцем: века исчезли, расстояния не стало... я понял его муки, разгадал тайны скорби, не постижимой для счастливых мира».

В «Книге Иова» разбирался вопрос о том, почему бог допускает, чтобы на Иова обрушились несчастья и гонения. Одна из величайших в мировой литературе религиозно-нравственных поэм «Книга Иова» рассказывала о страданиях «праведника», которого преследует рок. Иов, вступивший в борьбу с сатаной, лицом незримым, но коварным и губительным, становится жертвой надменного «злоначальника» (сатаны). «Грустнейшая и величественная песнь человечества в местах земной ссылки» в свободном переложении Глинки становится поэмой о томительном одиночестве ссыльного поэта.

Да, я отверженец, бездомок,
Кому чужда уже земля...
Я брошен бурей, как обломок,
В грозе морей от корабля.

Таково конечное развитие мотива о «бурном водовороте» и пловце, таков итог темы о разбитом челне. Поэт ощущает трагизм своего положения и ропщет на несправедливость жизни. Изображение пережитого и настоящего соединяется в поэме Глинки со скрытой полемикой, с обличением неправосудия и с признанием своей правоты. Путем самоанализа Глинка приходит к изображению самого себя как жертвы клеветы и несправедливости. Этот последний мотив имеет самостоятельный смысл. Став жертвой клеветы, Иов говорил богу:

Не заставляй меня грешить!
Не заставляй покинуть правду!
Скажи: за что меня казнишь,
За что ты борешься со мною?
Ты знаешь, что перед тобою
Я нечестивым не бывал.

«Свободное подражание священной книге Иова» представляет собой защитную речь пророка, направленную против злонамеренной клеветы «сатаны», с которым праведник «вступил в борьбу». Напомним, что Глинка воспринимал свой арест и ссылку как результат клеветы и доносов. Во время следствия и суда он энергично защищался, говорил, что виной всему — его прежняя борьба с всеильным начальником канцелярии петербургского генерал-губернатора Геттуном; он просил Следственный комитет дать «возможность ответить на вопрошания, доставить случай, перед очами комиссии посмотреть в очи тех или тому, кто

решился обвинять меня по злобе или заблуждению». «Кто же не был жертвой клеветы?» — спрашивал Глинка. Вместо права посмотреть в глаза «подспудным доносителям» Глинка получил ссылку в Олонецкую губернию. Он воспринял решение суда как явную несправедливость и продолжал считать себя жертвой клеветы и неправосудия. Скорбь Иова, непонятная для «счастливых мира», была по-своему разгадана и понята Глинкой: «Века исчезли, расстояния не стало». Характеристика Иова как праведника и врага «нечестивцев» в какой-то мере является автопортретом самого Глинки; известно, что друзья называли Глинку «витязем добра и чести», «истинным другом человечества», «настоящим энтузиастом ко всему доброму», «великодушным гражданином» и, наконец, Аристидом. Полемика Иова со «злоначальником» в какой-то степени является продолжением полемики Глинки с неправедным судом. Параллельно «Псалму 43-му» с его мотивом «Враги пируют праздник свой» следовало бы привести следующие стихи из «Иова»:

А вы с оружием острых слов
На безоружного напали
И, сети ставя сироте,
Подкоп под дом его ведете!
Хотите ль сердце смять мое
И, запугав, засыпать мразом
Последний жар моей души?..

Имеется еще одно доказательство, что вражда между «сатаной» и Иовом имеет непосредственное отношение к пережитому Глинкой в годы суда и ссылки. В поэме «сатана» называется «злоначальником» и «ловителем».

Ловитель — он в свои тенета
Беспечных смертных уловлял,
И после — пред престолом света —
Их с громким смехом обличал...

«Ловители» — так называлось «духовное» стихотворение Глинки, появившееся в 1826 году в «Московском телеграфе» и полностью перешедшее в поэму «Карелия». В этом стихотворении, написанном под непосредственным впечатлением декабрьских событий, мы видим ступенчатое нарастание драматизма: картина темной ночи и страны, которая «во власть им (т. е. ловителям — В. Б.) отдана», сменяется кар-

тиной пребывания «странника» в краю чужом, где его, «как птицу, стерегут».

Стихотворение «Ловители» окончательно проливает свет на несколько загадочный образ «ловителя» в «Иове». В «глухую ночь» пришли «ловители» с «арканом и ножом» и стали ковать «кандалы»:

Глухая ночь была темна!
Теней и ужасов полна!
Не смела выглянуть луна!
Как гроб, молчала глубина!
У них в руках была страна!
Она во власть им отдана...
И вот с арканом и ножом,
В краю, мне, страннику, чужом,
Ползя изгибистым ужом,
Мне путь широкий залегли,
Меня, как птицу, стерегли...
Сердца их злобою тряслись,
Глаза отвагою зажглись;
Уж сети цепкие плелись...
Страна полна о мне хулы,
Куют при кликах кандалы
И ставят с яствами столы,
Чтоб пировать промеж собой
Мою погибель, мой убой..

Если говорить о сюжете стихотворения «Ловители», то он совпадает с поэмой об Иове и «злоначальнике-ловителе». Грустная повесть об Иове то и дело перекликается с медитациями олонецкого ссыльного, и очень часто грань между библейским эпосом и лирикой стирается, объективное сливается с субъективным, и наоборот. Из лирического дневника прямым образом переходят в поэму отдельные строки, и поэма вбирает в себя стилистические и фонетические особенности медитативного стиля глинковской лирики. В этом отношении особенно показательны стихотворение «Грусть в тишине», написанное в годы ссылки.

Я живу, не живу
И, склонивши главу,
Я брожу и без дум
И без цели;
И в стране сей пустой,

Раздружившись с мечтой,
Я подобен надломленной ели;
И весна прилетит,
И луга расцветит,
И калека на миг воскресает,
Зеленеет главой,
Но излом роковой
Пробужденную жизнь испаряет!
И, завидя конец,
Половинный мертвец
Понемногу совсем замирает.

(«Грусть в тишине»)

Горю, томлюсь — покоя нет!
Кричу, зову — не отвечают;
Прошусь в мгила — не пускают,
Под зноем мук страдальцу нет
Ни сна, ни радостной прохлады;
Мой сон наполнен страшных грез,
Глаза растаяли от слез,
И сердце, слыша грозы, млеет...
О, горе, я живой — мертвец!
Я часто сам к себе с вопросом:
Живу ли я иль не живу?

(Из «Иова», гл. VI)

Здесь обнаруживается совпадение отдельных строк, не говоря об общей эмоциональной настроенности. Совпадение очень близкое: «Я живу, не живу» — «Живу ли я иль не живу», «Половинный мертвец» — «Я живой — мертвец».

В «Иове» еще одна тема чрезвычайно близка лирике ссыльного. Иов просит библейского бога разобраться в его делах и «помиловать страдальца»:

Зачем сражать меня стрелами —
Негодовать, как на врага?
Что б не помиловать страдальца,
Не снять бы всех его грехов —
Из жалости к сей бедной жизни!..
Ведь, может, завтра же придут,
Меня поищут... и напрасно!
Страдальца боле не найдут!..

(Гл. VII)

Тот же самый мотив содержится в стихотворении «Глас», написанном в связи с годовщиной пребывания в ссылке. Интересно отметить, что из 50-го псалма, положенного в основу «Гласа», Глинка полностью отбрасывает мотив о согрешении («Окропи меня исопѣм, и я буду чист») и оставляет лишь просьбу вернуть свободу («Дай мне услышать радость и веселие, и раздадутся кости, тобою сокрушенные»); напоминая о «годах скорби», о «тяжелых воспаленных снах» и об «осужденной земле», поэт выражает надежду на «радостную весть», т. е. на помилование.

Повеет сладкое прощенье
Над осужденною землей,
И потечет благословенье
На широту земных полей.

Восторг и радость мимолетны для олонецкого ссыльного, и устойчивым настроением его лирической поэзии является безысходная грусть. Неоднократно Глинка обращался к Николаю I и гр. Бенкендорфу с просьбой перевести его в другую губернию. «Три тяжких томительных года прошли с тех пор, как я, — писал Глинка в своем прошении, — нахожусь в великом несчастье, испытывая все горести униженной судьбы и пребывания в стороне чужой и пустынной». Отказ за отказом следовал до той поры, пока в его дело не вмешались Жуковский, Гнедич и Пушкин. Одно время Глинка совсем опустил голову, чувствуя себя «ни мертвым, ни живым».

Даже в пейзажную лирику и в фольклорные стихотворения врывается образ грустного переселенца. В Петрозаводске Глинка сложил «Олонецкую песню», появившуюся в 1830 году среди других его романсов и стихотворений в альманахе «Царское село». «Олонецкая песня» представляет собой не что иное, как письмо ссыльного поэта к петербургским друзьям. «Унылый птах», «пришибленный невзгодою», «один одним, сироточка», напоминает друзьям о себе, говорит, что он был когда-то их «спутником и братом». Поэт просит «сжалиться над горестным» и снести его «на родину к родным, друзьям, в природный край». В письмах к друзьям Глинка обычно рассказывал о подневольной жизни в Олонии, жаловался на свое здоровье, напоминал о дружбе и просил помощи. Возможно, что «Олонецкая песня» была задумана как своеобразное поэтическое обращение, рассчитанное на внимание литературной общественности.

Мы считаем уместным привести «Олонецкую песню» в отрывках:

Над озером, Габозером,
Сидит, грустит унылый птах,
Не здешний он: из дальних стран!
Пришиблен он невзгодою;
Привязан он хворобою!
Сидит, грустит залетный птах!
...И взговорил несчастный птах:
«Судьба моя, судьбинушка!
Другим ты мать, мне мачеха!
Сама ль велишь терпеть напасть,
Терпеть напасть, изныть, пропасть
Мне, бедному, мне, горькому,
В чужой стране, нерадостной!»

Привлеченный по делу декабристов и сосланный в Олонецкую губернию под тайный надзор полиции, Глинка оказался в числе поэтов, гонимых самодержавием. Только благодаря хлопотам А. С. Пушкина и О. М. Сомова ему удалось в 1830 году издать в Петербурге поэму «Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой». При содействии петербургских друзей его имя часто появлялось на страницах столичных журналов и альманахов 30-х гг., причем среди мелких лирических и описательных стихотворений в «Литературном музее» на 1827 год было напечатано стихотворение «Вздох», в котором на первом плане пейзаж Карелии — соймы и коймы, Онего и повенецкие леса, но заканчивается оно медитативной лирикой:

Брега пустынные темнеются, как коймы,
Онего зеркалом лежит;
И паруса сложили соймы...
Ничто не движется, безлюдный берег спит,
И волны тихие смешались с небесами,
Чуть слышен гул грозы — и молния горит
Над повенецкими лесами...
Торчат, как призраки, огромные скалы, —
Природы древние обломки...
Зачем уснули вы, кипящие валы!
Где ты, порывный ветер? — где вихри в свистах звонких?
Вы, древние жильцы в сих горных теснотах,

Мой вздох моим друзьям промчите в высотах!
Вас просит грустный преселенец:
Скажите им, что он в пустынных сих местах
О них тоскует, как младенец.

Трудно сказать, что главное в этом стихотворении: повенецкие леса или образ олонецкого ссыльного, который «тоскует, как младенец». Одно бесспорно, что обращение «грустного преселенца» к своим друзьям было рассчитано на специальную догадливость тех, кто помнил о декабристах, томившихся на каторге и в ссылке.

Стихотворения «олонецкого переселенца» несмотря на имеющиеся в них совпадения с «песнями отшельника» Кюхельбекера и лирикой поэта-каторжанина Одоевского, занимают особое место в поэзии декабристов после 14 декабря. Кюхельбекер и Одоевский, сравнивая свою судьбу с судьбой «опального старца», для которого жизнь «приемлет образ гроба», преодолевали печаль и личную скорбь сознанием исторической необходимости и неизбежности гражданского мученичества и жертвенности. «Есть сила, но нет воли», — говорил Кюхельбекер. «Есть воля, но нет силы», — признавался Глинка. И все же Глинка сумел подняться над бедной и однообразной поэзией личных скорбей обращением к широкому и свободному описательному жанру, который всегда ему удавался. Художественно-этнографический элемент стихотворения «Вздох» непосредственно сказывается на его фонетике: «коймы» и «соймы», будучи почти однородны по своему фонетическому составу, оформляют звуковую сторону, придают стиху местную лексическую окраску и делают его по-особому осязаемым. Глинка придавал большое значение отдельному слову, группе слов, фонетически близких, и в этом отношении он значительно ближе стоял к державинской поэзии, звучной и несколько шероховатой, нежели к поэзии элегического романтизма, уделявшей особое внимание целой строке и ее тщательной отделке, но не отдельному слову. Примечания Глинки говорят о том, что он особенно дорожил каждым локальным элементом своего стихотворения; его лирика индивидуальных переживаний порой всецело опирается на местные, локальные образы. «Повенецкие леса» проникнуты почти державинским полногласием, они звучат торжественно и видятся торжественно, как символ и образ не только местной природы, но величия природы вообще. Поэтическое обобщение проникнуто

у Глинки местным этнографическим содержанием, и обратно: местное способно у Глинки к бесконечному поэтическому расширению. Пейзажная лирика открывала путь к большим описательным поэмам, посвященным Карелии.

VII.

КАРЕЛЬСКИЕ ПОЭМЫ

Нет сомнения, что по линии фабульных замыслов Глинка в своих поэмах отходит от высокого и напряженного строя декабристских романтических поэм Пушкина. Но была область, где высокие традиции героического романтизма и декабризма Глинка стихийным образом сохранил и, очевидно, не мог не сохранить. Глинка мог усомниться в практической силе отдельной личности, протестующе настроенной против господствующего режима, он мог остаться на полном бездорожье, когда принимался размышлять — какими средствами следует продолжать политическую борьбу, но были такие области, где декабристская идеология попрежнему имела над ним полную власть. Можно утверждать, что декабризм живет дальше, переживает свой разгром и развивается не только в таких твердо и сознательно верных своих приверженцах, как Александр Одоевский или Кюхельбекер, но и в Федоре Глинке, несмотря на все его сомнения и на всю его уступчивость внешней силе, поборовшей героев на Сенатской площади. Эти элементы декабризма в сознании Глинки имеют первостепенное значение для всего поэтического творчества Глинки в период его карельской ссылки.

Глинка пронес сквозь все свои невзгоды патриотизм декабристов, их желание величайшего блага для России, их надежду на нее. Патриотизм — краеугольный камень декабристской идеологии. Доброй своей частью поэзия Рылеева есть не что иное, как патриотическая проповедь и патриотическое назидание. Местная тема и оказалась столь привлекательной для автора поэмы «Карелия», потому что она была для него живым и конкретным проявлением волнующей его темы о Родине. Вдумываясь в прошлое Карелии, проникаясь характером страны, сживаясь с ее пейзажем, Глинка фактически продолжил историко-патриотическую традицию декабристской поэзии. Поэма Глинки своеобразна в том отношении, что психологический материал в ней гораздо беднее и однообразнее описательного, который отличается исклю-

чительным драматизмом и лиричностью. Пейзаж у Глинки описан в манере поэта-декабриста, сподвижника молодого Пушкина, скрытая основа всей описательной части — патриотический энтузиазм в духе Пушкина и Рылеева, и поэтому она так ярка и выразительна. Энтузиазм 20-х годов подвергся ревизии в фабуле поэмы, но он еще пронизывает ее описательные мотивы.

Романтическая поэма в России в противоположность поэмам Байрона, отличающимся предельной экзотикой, ориентировалась прежде всего на максимальное использование особенностей местного, русского колорита. Именно такой характер она впервые приобретает в творчестве Пушкина — автора «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган». Пример Пушкина был подхвачен поэтами-декабристами, которые в своей стране ищут для себя поэтических тем и местных красок, отказываясь, в отличие от Байрона, от поэтических пугешествий в чужие края. Орест Сомов, один из теоретиков русского романтизма в 20-х годах, возвел эту своего рода поэтическую географию родной страны в один из важнейших принципов романтической программы. Он приглашал русских писателей «окинуть взором края России, обитаемые пыльными поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями средней Колхиды, потомками переселенцев, видевших Овидия, остатками некогда грозных России татар, многоразличными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, северными лапландцами и самоедами».*

В значительной степени пожелания Сомова были осуществлены нашими поэтами-романтиками. В своей монографии «Пушкин и Байрон» В. М. Жирмунский упоминает целый ряд таких романтических поэм, возникших на местном материале и культивировавших местную тему. «Рядом с обеими столицами представлена и провинция. Из Оренбурга присылает своего «Абдрахмана» рано умерший П. Кудряшев, «певец картинной Башкирии, быстрого Урала и беспредельных степей киргиз-кайсацких...», в Одессе печатаются И. Косяровский («Переметчик», 1832), А. Ашик, пользующийся более почетной известностью как археолог («Изменница», 1837), Н. Гербановский («Хаджибей», 1838, и историческая поэма «Вала Алба, или Белая долина»,

* О. Сомов. О романтической поэзии, СПб., 1823, стр. 86.

1838), в Харькове — П. Иноземцев («Ссылный», 1833, «Зальмара», 1837); в Казани — поэтесса Александра Фукс («Основание Казани», 1836, «Княжна Хабиба», 1842); в Варшаве — А. Алексеев («Мельдона», 1841); в Вильне — М. Горев («Багир-хан», 1842) и неизвестный П. К. («Мария», 1835)».*

Карельские поэмы Федора Глинки следует рассматривать в связи с этим литературным движением эпохи, но, без сомнения, они очень выгодно выделяются среди романтических поэм русской провинции: провинциальная тема у него была одухотворена гражданским патриотизмом и идеей народности. В этом отношении Глинка остался верен своим прежним единомышленникам по декабристскому движению, пронесшим даже сквозь тюрьмы и ссылки мечту о большой национально-патриотической поэзии, которую они не успели осуществить на воле, и пытающимся в меру своих сил сделать все нужное и возможное для осуществления ее даже в заключении. Кюхельбекер из Свеаборгской крепости писал в 1834 году Николаю Глинке, своему племяннику: «Конечно, лучше бы всего было, если бы содалась у нас поэзия истинно-народная. Но я лишен всех средств содействовать развитию сей поэзии. Иное дело, — если когда-нибудь буду с братом в Сибири: тогда — буде только огонь мой не совсем погаснет, даю тебе слово вслушиваться во все истинно-русское, местные и общие предания (курсив мой — В. Б.), сказки, песни, ловить и тщательно оберегать всякую черту народного характера**», — и действительно, Кюхельбекером была написана «Песня лопаря». Бестужев-Марлинский пишет в ссылке «Якутскую балладу», Одоевский — стихотворение «Река Усьма». Карельские поэмы Глинки принадлежат к этому ряду.

Поэма «Карелия» характерна своим внутренним протестом против руссоистского идеала человеческой жизни, смысл и счастье которой заключаются по Руссо в разрыве с цивилизацией, в простом и скромном существовании на лоне природы. Герои «Карелии», лесные робинзоны, именно такого типа, такова и дева карельских лесов и ее отец, но когда Глинка непосредственно отдается лирике природы, то тут проявляется вся его застарелая стихийная любовь

* В. М. Жирмунский. Байрон и Пушкин, 1924, стр. 205.

** Прокопий Ляпунов. Трагедия В. Кюхельбекера. Ред. и вступительная статья Ю. Тынянова. «Советский писатель», 1938, стр. 8—9.

к цивилизации. Ему удается сплавить в одно природу и цивилизацию, дать их совместно-нераздельный образ, как это было свойственно старым русским поэтам, когда они отстраняли рефлексию о «прелестях природы» и пагубности «искусства», — разумея под «искусством» цивилизацию. Есть строки, в которых Глинка прямо-таки великолепен, где пейзаж у него истинно поэтически вбирает в себя человека и его труд, и человеку подчинены стихии природы.

Над Выгом зарево горит!
То, знать, пожар?.. Иль блеск зарницы?..
Подъедем ближе — все шумит:
Там плавят медь, варганят крицы.
И горен день и ночь кипит;
И мех вздувает надувальный;
И, раз под раз подъямлясь в лад,
Стучит и бьет за млатом млат
По ребрам звонкой наковальни...
Там много их... то кузнецы,
Потомки белоглазой Чуди...

К слову «крицы» Глинка делает профессионально-техническое примечание: «Крицами называются железные комы; их составляют посредством бияния молотом из брусков, называемых свинками. На сибирских заводах говорят: «варганить крицы». По поводу кузнецов из Чуди Глинка сообщает в своих примечаниях, что в Олонецком крае обрабатываются богатые жилы руд, там находящиеся, что лесные жители вываривают уклад — род стали — и делают из него косы, топоры, серпы, чем и торгуют «по соседственным ярмаркам».

Обычная для поэзии образность — космическая — здесь поглощает более специальную и как будто бы прозаическую тему человеческого труда и производства, не совсем обычную для поэзии. Пожар и зарево промышленного труда представлены так, как если бы это были огонь и свет, исходящие из самой природы: «Над Выгом зарево горит!» Ни отдельных человеческих фигур, ни отдельных процессов работы мы не видим в описаниях Глинки; все слито в один общий стихийный порыв, как если бы творила сама природа, и это был бы шум и гром, ей самой свойственный. И всю эту картинку, каждую подробность ее, каждое слово в ней, пронизывает бодрая и повышенно-звучная фонети-

ка: «р» и «л» — сонорные вторят друг другу из строки в строку, иногда эти звуки скопляются, плотно придвигаясь друг к другу: «раз под раз», «за млатом млат». Глинка сам признается в поэме в том, что он пристрастен к этим звукам:

Но сладок у лесной карелы
Ее бесписьменный язык;
Казалось, я переселился
В края Авзонии опять:
И мне хотелось повторять
Их речь: в ней слух мой веселился
Игрою звонкой буквы л.

И вот «звуки Авзонии», звуки отборной поэтической речи пронизывают у Глинки картину тяжелого промышленного труда лесных людей, претворяя этот труд в прекрасное поэтическое явление. Фонетика стиха у Глинки сближает друг с другом понятия, из которых одни могли казаться исключительно поэтическими, другие же — мало причастными к поэзии. «Над Выгом зарево горит». «Выг» — географическое название сочетается с «космическими словами» — «зарево горит». В рифмах сближены «зарницы» и специально разъясненные Глинкой «крицы». Иногда в рифму попадают подряд два как будто бы будничных, трудовых, производственных слова — «надувальный», «наковальни», и рифма, высекая из них торжественные звуки, подчеркивая и это звонкое «л» и другие звонкие гласные, преобразует эти слова и эти понятия, придает им подлинную поэтичность.

Далее поэма Глинки спускается в область еще более низкую по обычным представлениям условной поэтики:

Однакож звонкий свой товар,
Добытый в долгие досуги,
Они отвозят на базар,
Лесным путем, к погостам Шунги;
Там ярмарка, там все пестро,
И все живет: там торг богатый
Берет уклад на серебро;
И мчит туда олень рогатый
Лапландца с ношею мехов;
На ленты, зеркальцы, монисты
У жен лесных кареляков,
Меняют жемчут их зернистый

Новгородцы-торгаши:
И в их лубочны шалаши
Несут и выдру, и куницу,
И чернобурую лисицу...

И здесь Глинка поэтизирует хозяйственную деятельность людей, придавая музыкальные эпитеты предметам торгова — «звонкий свой товар» — и олицетворяя самый торг, превращая его в пышный поэтический троп — «Там торг богатый берет уклад на серебро», рассыпая в описании ярмарки множество живописных подробностей.

Пейзаж и в последующих частях поэмы для Глинка слит с человеческой практикой; природа, цивилизация, хозяйство образуют в поэтическом сознании Глинка единство.

В Кареле рано над лесами
Сребро и бисеры блестят
И с желтым златом, полосами,
Оттенки алые горят,
И тихо озера лежат
На рудяных своих постелях.

В примечании к этим стихам говорится: «Ложе или дно здешних озер состоит почти всегда из железной руды, которую добывают оттуда особыми черпалами». Так пышный поэтический образ основывается у Глинка на вполне реалистических сведениях производственной практики человека.

Карелия, ее природа и богатства воспринимаются Глинкой с точки зрения поэта-патриота. Глинка отнюдь не желает, чтобы Карелия в его поэме была представлена дикой северной пустыней, захолустьем, хотя он и говорит: «Дика Карелия, дика!» В этой связи получает особый дополнительный смысл — мы бы сказали стилистический смысл — и один из важнейших мотивов фабулы: фигуру отшельника Глинка вводит с тем, чтобы сдружить образ Карелии с великой русской культурой, устранить чуждость между ними, указать на большую внутреннюю близость между этими национально-историческими силами, не снимающую несколько своеобразия каждой из них. В последних двух поэмах — «Дева карельских лесов» и «Карелия» — Глинка, ссыльный поэт-декабрист, приложил все свои силы к тому, чтобы воссоздать образ и красоту Карелии, малоизвестного тогда края. У него был один предшест-

венник на этом поприще: знаменитую оду Державина «Водопад» мы имеем основание рассматривать как начало в русской литературе карельской темы, вызванной интересом поэта к сурово-красивому и многообещающему краю русского государства.

Глинку с Державиным объединяет не одна только карельская тема. В поэме поэта-декабриста можно найти немало следов его общности с великим поэтом восемнадцатого столетия. «Карелия» — произведение героического романтизма. В стихе нет ничего элегически-медитативного, хотя фабула и клонит в эту сторону. Общий размах стиха Глинки и здесь — державинский. Влияние Державина не случайно для поэта-декабриста.

Поэты-декабристы ценили Державина за идеи патриотизма и гражданственности, которые легли в основу его лучших произведений, за дельность, мужественность и энергию его поэзии. У Глинки в поэме от Державина взят неровный поэтический слог с дерзкими переборами, предельная звучность стиха, насыщенность его оптическими образами, намеренная неотесанность, «дикость» выражения. Это активный стих — он не баюкает и не ласкает слуха, он требует духовного бдения от того, кто его воспринимает, и наслаждение, доставляемое этим стихом, — активное, оно заключается в высшем напряжении наших чувств, в том, что глаз и ухо должны приноровить себя к впечатлениям чрезвычайно интенсивным, перешедшим за черту повседневно переживаемого нами.

Напомним суждение Глинки о природе стихотворного ритма: «Если стихи, как обертку мыслей, можно сравнить с тканью, то в ямбах сия ткань плотнее, гуще и потому надежнее удерживает мысль и чувство; хорей как-то сквозны, сетчаты, и мысли в них не довольно остепенены» (письмо к А. А. Ивановскому от 1827 года, цитировалось выше).

«Карелию» Глинка пишет излюбленным своим четырехстопным ямбом — «плотным, густым, остепененным». Для Глинки особое значение имеет краткость четырехстопной строки, из нее поэт извлекает двойной эффект. Когда он хочет, стих приобретает особую беглость, быстроту, стремительность; но краткая строка не слишком вместительна, в нее укладываются считанные слова, они все на виду, теснят друг друга, — не это ли имел в виду Глинка, когда говорил о «плотном слог» и «густоте» стихотворной ткани?

Стих Глинки действует двояко — он берет широкий разбег, он свергается со строки на строку, и тут же сказываются силы, тормозящие его, — стих Глинки по природе своей динамичен, он имеет дело с сильными препятствиями, он побеждает их, но препятствия снова растут, и стих снова вступает в единоборство с ними. Невместительность строки ведет к тому, что очень часто она не способна заключить в свои границы сколько-нибудь законченные, синтаксические целые; отдельные слова и группы слов отрываются, скатываются из одной строки в следующую (т. е. образуется так называемый «перенос»), и этим создаются в ритмической ткани рубцы, часто тяжелые и ощутимые. Какие-то куски фраз, сами по себе не осмысленные, заполняют целые стиховые строки; в таких случаях нужно искать связь, и это искание смысловой синтаксической связи, часто трудное и медленное, дробит течение стиха, создает свои членения, которые с ритмическими членениями не совпадают:

...Но бросил скоро он войну
На зов семьи. С душою гладной
От славы, часто безотрадной,
Он возвратился в тишину,
На родину. Богат и молод,
Искал он пищу для души.
Искал, желал; один в тиши
Любил мечтать, но чувства холод...

В этих строчках ритм спотыкается непрерывно, и самые эти перебои ритма настолько закономерны, что как бы сами образуют свой особый внутренний ход.

Характерный прием Глинки — ввод в стих многочисленных, многосоставных, а то и трудно произносимых слов, незнакомых, впервые представившихся читателю в этих стихах и поэтому выговариваемых осторожно и неуверенно. Любовь к сложным, громоздким словам — чисто державинская:

Или встречались на мхах
С ветвисторогою станицей...

И ясный, как святое чувство
Самодовольственной души...

Потомки белоглазой Чуди.
Они не злобны — эти люди!

Великорослые жильцы
Пустынь..
И недоконченный рассказ
Толвуозерского монаха..
...Мне быт у них
Патриархальный — был по нраву..
В лесах свирепствовал пожар,
В Кариоландии горело..
И благодатным ароматом
Облаговонила земля..
Уж близок день, уж близок день
Твоей непотемнимой славы:
И праздную заветный пир
В моей душе уступенной..

Ритм вынужден как бы пробиваться сквозь эти слова, в стихах напоминающих завалы, и когда эти слова все же взяты ритмом, когда ритм, задерживаемый ими, снова освобождается, то мы ощущаем это как счастливую развязку. Глинка таким образом из ритма делает настоящую драму, борьбу звуков и слов. Фонетическая окраска стиха у Глинки тоже густая, как у Державина, он любит цельность звука, осязаемость его.

И от озер студеным веет..
И жизнь молчит, и по горам
Бедна карельская береза;
И в самом мае по утрам
Блестит серебро мороза..

Любопытно, что словами описания говорится о бедности — «бедна карельская береза», а вся оркестровка строк на раскатистое «р» придает пейзажу красоту и величие. То же самое:

Лишь изредка отрывки пашен
Висят на тощих ребрах скал..

«Бедные» подробности в описании пейзажа для Глинки только частности. Он привык в мире и в природе видеть энергию и непочатое богатство, — державинское видение богатства всюду его преследует, и стиховой стиль Глинки организован как бы навстречу этой мощи и этих бесценных даров, которые может предложить поэзии природа, бедная и скудная только по первому впечатлению.

Но живописна ваша осень
Страны Карелии пустой:
С своей палитры, дивной кистью,
Неизъяснимой пестротой
Она златит, малюет листья:
Янтарь и яхонт и рубин
Горят на сих древесных купах,
И кудри алые рябин
Висят на мраморных уступах.
И вот, меж каменных громад,
Порой я слышу шорох стад,
Бродящих лесовой тропую,
И под рогатой головою
Привески звонкие бренчат.

Вот стихи, где излюбленная Глинкой торжественная фонетика вступает в полное согласие с тем, что дает зрительный, мыслимый образ: пышные цвета осеннего пейзажа сливаются воедино с трубными звуками этих стихов, и звук и образы возвышаются до предельной своей — державинской — красоты и интенсивности. В этой красоте — тоже по-державински — все и пышно и просто, здесь и такое словечко, как «малюет», рядом со «златом», и здесь рябина дается как образ неслыханного красочного богатства, и «привески звонкие» под «рогатой головою», среди «каменных громад», звучат («бренчат») необыкновенно сильно.

Показательно, что к описательной части поэмы, к стиху ее притягивалось внимание всех современных критиков, писавших о «Карелии». Это не случайно, так как описания затмевали для них остальное содержание поэмы. На первом месте следует, разумеется, поставить отзыв Пушкина. Пушкин говорит о языке Глинки, о его стихе, и затем — особая форма критики — предлагает несколько выписок из поэмы: выписано все, что Пушкин считал лучшим. Пушкин находил, что в поэме «Карелия» отражены все достоинства и недостатки поэтического стиля Глинки. Отмечая самобытность таланта Глинки, Пушкин указывает на некоторую парадоксальность его стиля:

«Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, — писал Пушкин, — может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не на-

поминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в стансах метафизических или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью, какая-то вялость, и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной, — все дает особенную печать его произведениям. Поэма «Карелия» служит подкреплением сего мнения. В ней, как в зеркале, видны достоинства и недостатки нашего поэта».*

Пушкин имел полное основание говорить о самобытности дарования Глинки и оригинальности его поэмы. Считая наиболее удачными описательные картины, посвященные изображению величественной природы Карелии, Пушкин в своей рецензии процитировал следующие отрывки: «В страну сию пришел я летом», «Дика Карелия, дика!», «Край этот мне казался дик», «Сии места я рассмотрел», «Здесь поздно настает весна», «По Суне плыли наши челны», «Кивач... Кивач!.. Ответствуй, ты ли?» и «В тех горах живут селениями духи».

Отзыв Пушкина знаменателен тем, что в нем не упомянуты религиозно-сентиментальные дидактические элементы в поэме, тем самым Пушкин отверг их. Но зато едва ли хоть один действительно сильный эпизод поэмы укрылся от его внимания.

ПОСЛЕ ОЛОНЕЦКОЙ ССЫЛКИ

После олонецкой ссылки и пятилетней жизни в Твери под надзором полиции Глинка поселился в Петербурге, а потом, через два-три года, переехал в Москву, где он особенно сдружился с известными славянофилами — Погодиным и Шевыревым. Погодин решил издать «Собрание сочинений» Глинки; характерно, что в изданный им в 1869 году первый том он отобрал только «духовные» стихотворения.

* «Литературная газета», 1830, № 10, стр. 48.

В эти годы Ф. Н. Глинка на фоне окружавших его воинствующих славянофилов и представителей так называемой «официальной народности» мало заметен; имя его совершенно не учитывается при изучении литературно-общественной полемики 30—40-х годов. Между тем, попав в раскаленную атмосферу этих лет, он не остался стоять в стороне. Глинка усвоил политическую догматику «Москвитянина» и сравнительно быстро овладел славянофильской фразеологией. Вместе с Шевыревым и Погодиным он порицал «злой недуг» революционного движения. Из-за его статьи в «Московских ведомостях» (1840, № 16), в которой содержался намек на «философию безверия» Белинского, разгорелся спор между «Отечественными записками» и «Москвитянином». Белинский, высоко ценивший «Очерки Бородинского сражения» (1839), с присущей ему принципиальностью обрушился на морализм глинковской поэзии и вынес суровый, но справедливый приговор: «Мы всегда говорили и теперь скажем, что истинный поэт всегда нравственен, а пошлые нравоучители вовсе не поэты». Для Белинского было ясно, что Глинка как автор статьи в «Московских ведомостях» и нравоучительного стихотворения «Москва благотворительная» подпевает Шевыреву, который тогда возглавлял поход против революционно-настроенного молодого поколения. Резко порицая Глинку за его доморощенный морализм, Белинский обрушивался на реакционную догматику «Москвитянина». Глинка не только не прислушался к голосу Белинского, но в дополнение к «Москвитянину» стал сотрудничать в «Маяке» Бурачка, продолжая свои нападения на «век безверия». За громкими фразами об умиляющей гармонии, о святости небесного и греховности всего земного, о разлагающем влиянии разума на сердце человеческое и т. п. в его стихотворениях скрывались воинственно-реакционные идеи, проповедь христианского миролюбия, ненависть к передовому общественному движению и страх перед революцией.

Эволюция Глинки к реакционному славянофильству не содержит в себе ничего парадоксального; она свидетельствует об ограниченности и умеренности дворянской революционности, о половинчатости глинковского декабризма. Глинка и в молодости был склонен к пиэтизму, к религиозной тематике. Идеологические позиции Глинки в пору декабристских увлечений не отличались революционностью, после 14 декабря и ссылки в условиях напряженной идеоло-

гической борьбы 30—40-х гг. его «прекраснодушный» пиэтизм обернулся прямой реакционностью.

В 1848 году П. А. Плетнев замечал в письме к Я. Г. Гроту по поводу приезда Ф. Н. Глинки с женой А. П. Голенищевой-Кутузовой в Петербург: «Чета уже ветхая»; а Глинка после этого прожил еще 32 года. Жил он в Москве по соседству с Сухаревой башней, на Садовой улице. По понедельникам у него собирались друзья и знакомые, престарелые писатели и художники — известный Раич, художник Рубенс, переводчик Б. М. Миллер, И. И. Дмитриев, академик Завьялов и др. Рассказывая о своих литературных знакомствах, А. И. Шуберт, между прочим, вспоминает и Глинку с женой: «Ф. Н. Глинка, маленький, сухонький старичок, очень скромный, неразговорчивый; зато супруга его, Авдотья Павловна, была очень авторитетна, говорила громко, азартно, ругала Герцена». Вспоминая глинковское общество стариков, остроумный Раич сказал однажды:

Мы живем на Серединке,
Как отшельники,
Ходим только к Глинке
В понедельники.

Литературная жизнь Глинки завершилась более чем неудачно. Писал он свыше 70 лет, но самыми плодотворными годами в его жизни и творчестве были 20—30-е гг. В молодости — оригинальный поэт и видный общественный деятель, под старость — мистик и реакционер, Глинка только в годы русско-турецкой войны на время вернул былую славу поэта-патриота. Особенно широкую известность приобрело его стихотворение «Ура! На трех ударим разом!» Этот патриотический гимн был переведен на французский, английский, немецкий, польский, молдавский, сербский, китайский и маньчжурский языки.

Даже в своих религиозных стихотворениях Глинка в 1854 году заговорил языком поэта-воина. В стихотворении «Христос воскрес» он в один образ объединил «святые дни» и «ядра каленые»:

В святые дни ядром каленым
Мы похристосуемся с ним!

Стихотворение «Голос Кронштадта» он закончил следующим возгласом:

Когда же гордый не смирится,
Готовых видя нас к войне,
Монументальный сам помчится
Царь Петр на бронзовом коне.

После появления этих стихотворений в «Северной пчеле» Глинка редко выступал в печати. Все его творчество ограничивалось дружескими посланиями.

В письмах этих лет Глинка часто ворчал на «новых людей», которые «с новыми мыслями, воззрениями, порядками и т. п., как будто спустясь с луны, заселили землю». «Вот и еще в одной брошюрке уверяют, — писал Глинка в письме к Я. П. Полонскому, — что лягушки тоже люди, только незрелые, а люди, значит, лягушки созревшие.

Надменный нигилизма век.
Кому святое все — игрушка, —
Твердят, что человек — лягушка
И что лягушка — человек!»*

В этот «надменный нигилизма век» Глинка выступил с мистической поэмой «Таинственная капля», изданной в 1861 году в Берлине, а через десять лет (1871) перепечатанной в Москве в издании М. П. Погодина. В этой большой и растянутой поэме (30.000 стихов), основанной на одной из древнехристианских легенд и написанной под сильнейшим влиянием Мильтона и Клопштока, Глинка греховности всего земного противопоставлял святость небесного. Поэма отражала мистическое настроение поэта и в то же время была своеобразным реваншем «шестидесятникам» за их «нигилизм» и материализм. В шестидесятые годы, когда наиболее передовые русские люди пропагандировали материалистическую философию, «Таинственная капля» Глинки проповедывала субъективный идеализм, мистику и терпение. Так поэму Глинки и поняли в консервативных кругах общества. Графиня Ростопчина в «Москвитяине» напечатала открытое письмо Глинке, в котором приветствовала «Таинственную каплю», назвав ее противоядием против «всяких лжеучений».

В последние восемнадцать лет своей жизни Глинка совсем отошел от литературы. Одно из его последних стихотворений «Мальчик в лаптях и нагольном тулупе» посвящено

* Письмо к Я. П. Полонскому хранится в Рукописном отд. ИРЛИ АН СССР.

Ломоносову. Слабое, без всяких проблесков таланта, это стихотворение, тем не менее, лишний раз свидетельствовало о том влиянии, которое имел Ломоносов на «жесткую» поэзию Глинки. За три года перед смертью Глинка написал последнее стихотворение «Уже прошли четыре века», посвященное событиям русско-турецкой войны.

Без малого сто лет (1786—1880 гг.) прожил Ф. Н. Глинка. Он скончался 11 февраля 1880 года в Твери. Его хоронили с воинскими почестями как участника Отечественной войны 1812 года, награжденного золотым оружием.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Краеведческое путешествие	3
II. Письма русского офицера	17
III. На пути к декабристской поэзии	35
IV. Элегический псалом	54
V. Поэт-дидактик	73
VI. Стихотворения эпохи следствия, суда и ссылки	87
VII. Карельские поэмы	113

Редактор *Ф. Эмишберг.*

Техн. редактор *А. Блинов.*

Подписано к печати 24 февраля 1950 г. 8 печ. л. 7,5 уч.-изд. л.
Формат бумаги 84 × 108¹/₃₂. Заказ 268. Тираж 2000.

Е—00937

Цена 3 руб.

Сортавальская книжная типография Управления Полиграфиздата
при Совете Министров КФССР
г. Сортавала, Карельская 32.

Сортавальская книжная типография
г. Сортавала К-ФССР,
Карельская ул. 32

КНИГА ПРОСМОТРЕНА

Контролер № 5

При обнаружении дефектов вы-
ложите книгу вместе с контрольным
ярлыком для обмена.

О п е ч а т к а

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
57	40 снизу	Карамзина	Каразина

Ф. Глинка